



ГОЛАЯ ЖИЗНЬ

АЛЪМАНАХЪ

РЕВОЛЮЦИОННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ
ЛАТВІИ, ЭСТОНІИ, ФИНЛЯНДІИ и др.

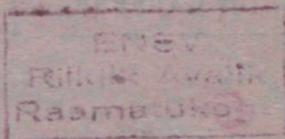


19 28

ИЗДАТЕЛЬСТВО „КРАСНАЯ ГАЗЕТА“

Р. ЭЙДЕМАН, Л. ЛАЙЦЕН, А. УПИТ,
А. КУРСКИЙ, К. РУМОР, К. ТРЕЙН,
Ф. ТУГЛАС, С. ИНГМАН, Я. КОЛАС

ГОЛАЯ ЖИЗНЬ

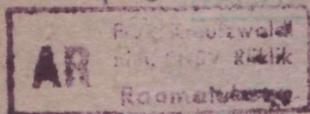


ИЗДАТЕЛЬСТВО „КРАСНАЯ ГАЗЕТА“

Ленинград — 1928

8-3 + С(Эст)-3

Ан 928
Голла

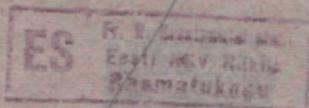


48646



Обложка работы
Вл. Гольмана и
В. Саввина

ЭН8
ГОЛЕР



3310

Тип. „Красной Газеты“ им. Володарского. Ленинград, Фонтанка, 57.
Ленинградский Областлит № 8908. Заказ № 3159. Тираж 10.000.

Р. ЭЙДЕМАН

РАССКАЗ О ПОРТНОМ ФАЙТЕЛЬСОНЕ

Перевод с латышского
Э. СИЛЬМАНА

Роберт Эйдеман — яркий представитель латышской пролетарской литературы, выросшей в революционных боях. Боевой командир, высокоталантливый писатель и стальной партиец, Эйдеман является красочной фигурой на фоне молддой латышской пролетлитературы. Картины из жизни латышской деревни, объединенные под названием «Местечковые рассказы», обнаруживают в Эйдемане незаурядное дарование.

В настоящее время писатель работает в Москве.

R. EIDEMANIS
«Stahsts par skroderi Faitelsonu»

Fr. R. Krotzwald
nim. ENSV Ristik
Rismatels

Я хочу рассказать о портном Файтельсоне, об Ицике Файтельсоне... Вы, разумеется, его не знаете, если только вам не приходилось отдавать ему брюки для перелицовки или наложения на них заплат.

Ицик Файтельсон живет в том же доме, где и господский портной Эбергарт Уйска. Вернее, он живет во дворе этого дома — в крошечном флигельке, одну половину которого занимает баня. Господский портной имеет вывеску, на которой изображен дымящий сигарой барин во фраке. У Ицика же Файтельсона нет никакой вывески. Господский портной Эбергарт Уйска водит компанию с купцом Кнопом, принимает участие в любительских спектаклях, является бессменным распорядителем танцев на всех вечерах, разгуливает в блестящих гамашах, а летом носит зеленую охотничью шляпу с длинным пером. Ицик Файтельсон никогда не ходил в гости к важным особам и никогда, даже в дни молодости, не умел танцевать с таким изяществом, как Эбергарт Уйска. Шапка, которую носит Ицик Файтельсон, у него общая с сыном Фройкой, хотя она тоже некогда переживала пору юности — была новой. Ицик Файтельсон ходит в деревянных башмаках, которые громко стучат. На что Ицику Файтель-

сону, на что нищему еврею-портняжке туфли? Посиживать на столе, с которого он спускается только по вечерам, за исключением субботы, когда совсем не взбирается на него, можно и без туфель. И поэтому путь деревянных туфель Ицика Файтельсона всегда ведет к синагоге. По ту сторону синагоги кончается их мир.

Когда Ицик Файтельсон сидит на столе, в туфли влезает его жена Сарра. Сарра съедает за весь день только десяток картофелин, да немного селедки и луку и лишь в редких случаях употребляет в пищу кошерное мясо или масло, однако, она толще, чем Ицик с Фройкой вместе взятые; она толще их, даже если к ним прибавить еще Нойку, который служит у Зифа.

Поэтому соседки в разговорах с ней обычно восклицают:

— Ой, Сарра, Сарра, ты все толстеешь... Ты, Сарра, могла бы еще и рожать, еслиб твой Ицик так не высох.

Да, Сарра могла бы еще рожать. Хвала богу бедных евреев, который даже картошку в желудках своих детей наделяет подобной силой.

Сарра влезает в башмаки Ицика; она влезает в башмаки Ицика, берет кое-какую мелочь и большую корзину; она берет сплетенную из бересты корзину и плетется на базарную площадь. Корзина таких размеров, что в ней легко уместился бы весь базар, но у Сарры в кулаке греется только пара монеток. Поэтому она покупает в первую очередь тридцать картофелин, а затем два фунта хлеба — по фунту на Ицика и Фройку. Сарра Файтельсон... О, Сарра Файтельсон — расчетливая хозяйка. Если у нее не хватает денег на кошерное мясо, она покупает селедку и лук; если же денег мало и на такой расход, она покупает один лук... Ицик Файтельсон питает особое пристрастие к сваренной, а затем хорошо обсушенной, — чтобы стала муч-

нистее, — картошке с зеленым луком. Ицик Файтельсон уверяет, что это—одно из наиболее питательных блюд. Наевшись картошки с луком, он слегка распускает поясной ремень, объясняя:

— Объялся я сегодня, Фройке! Не кажется ли тебе, Фройке, что мы сегодня отлично обошлись без селедки. Я думаю, что есть каждый день соленое не очень полезно. У нас нет ни малейшей охоты самим сделаться селедками, — не так ли, Фройке?

Он умеет иногда и шутить, Ицик Файтельсон.

Ицик Файтельсон накладывает заплаты и переделывает старую одежду на новую: он переворачивает не вытертую и чистую внутреннюю сторону наизнанку и — одежда опять точно новая. Он делает это столь искусно, что необходимо пристально взглядеться, чтобы обнаружить в перелицованной им одежде зашитые петли для пуговиц на неподобающем месте.

Изготовление новых костюмов Ицику Файтельсону не доверяют: он всегда старомоден, он отстает от моды, ибо попадающая в его руки для починки и перелицовки одежда имеет мало общего с фасонами господского портного Эбергарт Уйска. Господский портной выписывает модные журналы и шьет по ним. Ицик Файтельсон слишком беден, чтобы выписывать модный журнал; Ицик Файтельсон также слишком стар, чтобы научиться шить по образцам этих журналов.

В работе Ицику Файтельсону помогает его старший сын Фройке, тогда как младший, Нойке, служит у купца Зифа. Нойке служит у купца Зифа. Нойке учится ловко и выгодно продавать, ловко и изящно заворачивать проданное и — главное — кланяться.

— Кланяйся, Нойке, кланяйся! — поучает его Зиф. — Кланяйся и улыбайся, если хочешь быть счастливым и сытым евреем.

И Нойке кланяется. Покупатель берет на копейку — Нойке кланяется на рубль. Покупатель, перевернув товар несколько раз в руках и вдоволь порасспросив насчет цены, уходит, ничего не купив, — Нойке кланяется. Покупатель, явившись в дурном расположении духа, сердится, бранит Нойке разными некрасивыми словами, — Нойке кланяется, словно получив щедрые чаевые.

Вначале, впрочем, спиной хребет у Нойке оказался не совсем гибким, да и пальцы двигались с недостаточной быстротой, но Зиф умел так искусно воздействовать аршином на спину и пальцы ученика, что быстрота и ловкость скоро сделались совершенно неотъемлемыми качествами Нойке.

Нойке живет и столуется у Зифа, поэтому он круглее и глаже Фройке и поэтому Фройке рядом с ним кажется слишком исхудалым и костлявым; костлявый Фройке со своей большой головой, которая вечно взлохмачена, напоминает обглоданную селедочную кость... По субботам Нойке приходит к родителям; приходит чистенький, причесанный гладко-гладко; он кланяется с таким видом, словно Ицик Файтельсон — покупатель, за которым необходимо особенно поухаживать.

— Из Нойке современем выйдет что-нибудь хорошее, Фройке. Нойке когда-нибудь будет богаче нас с тобой, Фройке, — с гордостью говорит Ицик Файтельсон. Фройке, костлявый Фройке, у которого в детстве вытек один глаз, старается вынуть из другого, зрячего, попавшую туда соринку; он усиленно моргает глазами, и нос у него подергивается, у костлявого Фройке.

На свете происходят такие вещи... Да, на свете происходят совсем неожиданные вещи... И отголоски всего,

что происходит на свете, докатываются также и до местечка между двумя реками. Может быть, доля вины за это лежит и на обеих этих реках: воды всегда разносят далеко все звуки, а эти реки к тому же катили свои волны из дальних краев.

И был такой год, когда по улицам местечка разгуливали радостные, шумливые люди; в местечке, расположенном близко от линии фронта, кричали солдаты, требуя мира, ибо им надоело унаваживать землю своими, разрываемыми пулями и гранатами телами; над местечком расцветали маково-алые знамена...

— Не ходи, Фройке, на улицу... Не для того у тебя башмаки, чтобы бегать на улицу... Разве даст тебе там кто-нибудь денег на картошку и селедку... Фройке, селедка опять вздорожала!

И Фройке, костлявый, с толстой башкой, не выходил на улицу. Вернее — он редко выходил на улицу. Но когда выходил, то громадные файтельсоновские уши у него дрожали, как у молодого жеребца.

Когда в местечко на конях въехали немцы и местечко снова зажило своей прежней, исполненной покоя и благочиния жизнью, Ицик Файтельсон продолжал по-старому чинить одежду и переделывать старую на новую.

— Ведь говорил я тебе, Фройке... Говорил я тебе, Фройке, что добром это не кончится. На что нам, бедным портным, восьмичасовой рабочий день. Восемью часами мы сыты не будем, Фройке. Всем хочется иметь хорошо заплатаанный пиджак, но хорошо платить никому не хочется...

Ицик Файтельсон был слишком мудр, слишком седовлас был Ицик Файтельсон, чтобы броситься навстречу большевикам, когда немцы стали уходить. Он не вышел даже на улицу в тот день, когда

в местечко вопли большевики. Весьма возможно, что он не вышел из-за того, что Сарра ушла в его башмаках со своей корзиной и чуть ли не весь день пробегала в поисках картошки. Какой дурак станет спускаться в подвал ради каких-то трех десятков картофеля, когда мир в этот момент как-раз переворачивается на другой бок...

Сарра Файтельсон сварила в тот день картошку только к вечеру.

— Говорил я тебе, Фройке... Говорил я тебе, Фройке... Большевики нам жареную картошку с селедкой в рот пихать не будут...

На что Ицику Файтельсону большевики и меньшевики, красные и белые... Ицик Файтельсон накладывает большие заплатки на большие дыры; на маленькие дыры он накладывает заплатки поменьше; но никогда он не пользуется для своих заплат красной или белой материей.

Фройке, одноглазый, принес с улицы портрет Ленина; он прикрепил его с помощью сломанной иголки к стене и, моргая своим единственным глазом, стал смотреть на него; смотрел он с таким выражением любви и преданности, словно на стене висел портрет маленькой Идельсон, кассирши Зифа.

На что Ицику Файтельсону нужны очки? На что ему нужны очки? Ицик Файтельсон откусывает нитку, но сквозь свои очки смотрит отнюдь не на нитку, а на Фройке. Очки у Ицика Файтельсона сползли на самый кончик носа; очки у него вечно сползают, как и единственные, неизносимые штаны...

— Погляжу я на тебя, Фройке... Большую голову дал тебе бог, Фройке, но мало ума! Я тебе говорю: добром это не кончится. Этакое никогда добром не кончалось, Фройке...

Фройке безмолвствует. Он моргает своим единственным глазом и сопит, в то время как отцовские очки поочередно разглядывают то его, то портрет на стене.

— Ты оглох, Фройке? Сними этот портрет со стены, говорят тебе. Может быть, он был у тебя выгодным покупателем, раз ты повесил его портрет на стену? Может быть, он когда-нибудь дал тебе починить свой старый пиджак и хорошо заплатил, Фройке?

Фройке вытирает рукавом свой единственный глаз: он всегда был послушным сыном; поэтому он снимает портрет со стены и кладет его возле себя на стол. Он кладет его возле себя на стол, как господский портной — модный журнал. Фройке с одним глазом, — что ты сошьешь, глядя на такую картину...

У Ицика Файтельсона никогда не бывают богатые и наедающиеся досыта люди. Что им делать у Файтельсона. Богатые люди не ходят в заплатанных штанах. Богатые люди не станут дышать тяжелым воздухом, насыщенным чадом утюга и запахом лука, какой царит в мастерской портного-старьевщика Файтельсона.

Но случилось так, что в тот же день, когда Фройке принес с улицы портрет Ленина, к Ицику Файтельсону зашел богатый Зиф, который имел свой магазин на базарной площади и у которого находился в обучении младший Файтельсон — Нойке.

— Тебе придется перешить мне брюки, Файтельсон. Они болтаются на мне мешком. Они стали мне велики — эти брюки... Сейчас настали такие времена, Файтельсон, что живот от радости должен присохнуть к спине. Ой-ой! — Так сказал он, так вздохнул он, этот богатый Зиф, усевшись посреди мастерской Файтельсона.

Но Файтельсон давно уже соскочил со стола и стоял перед Зифом, почтительно согнувшись. Пальцы и голова его дрожали сильнее обычного, когда он сказал:

— Это вы правду говорите, господин Зиф... Это вы истинную правду говорите, господин Зиф...

— Сегодня они были у меня, Файтельсон... Они были у меня и описали меня со всем скарбом. Начиная с завтрашнего дня, Соломон Зиф больше не торгует на деньги. Он будет выдавать из своего магазина хороший товар за бумажки, на которых будет стоять печать. Вот какие сейчас времена, Файтельсон! С какой стати ты покупаешь тряпье для своих заплат, Файтельсон. Ты можешь получить такую бумажку с печатью, взять в магазине Соломона Зифа лучшего шелка и накладывать на свою вонючую рвань шелковые заплаты. Вот какие сейчас времена, Файтельсон!

— Люди сейчас стали очень скверными, господин Зиф. Они сами не ведают, что творят. У них большие головы, но мало ума, господин Зиф... Это добром не кончится. Этакое никогда добром не кончалось, господин Зиф. И недалеко уже до конца...

— Ты говоришь мудро, Файтельсон. Но от твоих слов мой кошелек не становится тяжелее. Он сделался таким же тощим, как мое брюхо. С таким кошельком мне трудно кормить твоего Нойке. Он — человек молодой, и аппетит у него прекрасный. Я пришел тебе объявить, Файтельсон, что сегодня вечером пришлю тебе назад твоего Нойке... Я не могу кормить его записками.

Пришла с базара Сарра Файтельсон. Она стояла в дверях, держа на руке корзину с картошкой и луком. Сарра слышала слова господина Зифа.

— Что мы теперь будем делать, Ицик? Что мы будем делать с Нойке, который не умеет накладывать заплаты, когда нам самим нехватает еды. Я принесла только двадцать картофелин и две луковицы, Ицик. А коза стала давать совсем мало молока.

Сарра обладала здоровыми легкими и кричала так громко, что картошка и луковицы от испуга выскочили из корзины. Ползая по полу на четвереньках, их пришлось собирать молчаливый Фройке, у которого был только один зрячий глаз.

— Постыдилась бы ты, Сарра, господина Зифа... Постыдилась бы и не кричала бы так громко. — Глаза У Ицика Файтельсона были вечно воспаленные и красные, как у плотвы, которую Файтельсон вкушал в праздник пасхи. Когда Ицик снова повернулся к господину Зифу, они были немного краснее обычного. — Я прошу не сердиться на нас, господин Зиф. Я прошу не сердиться на мою Сарру, — тихо добавил он.

Зиф помолчал некоторое время. Зиф был человеком умным и знал, как необходимо держать себя.

— Мне тебя крепко жаль, Ицик. Мне жаль твою Сарру, которая проливает столь горькие слезы, какие, Ицик, некогда проливали наши отцы в разрушенном Иерусалиме... Я оставлю твоего Нойке у себя... Отпусти мою руку, Сарра...

Соломон Зиф был великолепен в этот момент. Он сидел в комнате Ицика Файтельсона, где воздух насыщен чадом утюга и всевозможными ароматами, но сидел с таким горделивым видом, словно только что бросил к ногам Файтельсонов набитый золотом кошелек.

Да, Соломон Зиф сотворил благое дело. Нужно было собственными глазами видеть в тот момент Сарру и Ицика, чтобы по их глазам, выражению лиц и движениям судить о том, какое благое дело сотворил Зиф. Только один Фройке, костлявый, молчаливый, с одним глазом, продолжал невозмутимо восседать на столе, вдевая нитку в иголку.

— Отпусти мою руку, Сарра... У тебя, Сарра, язык проворнее иголки в руках хорошего мастера. Мне бы хотелось, Сарра, чтобы твой язык немного присмирел. Притвори дверь, Ицик. Дверь твоя тоже слишком широко разинула глотку, чтобы у тебя можно было переговорить о серьезных делах.

Ицик Файтельсон притворил дверь. Ицик Файтельсон оставил за ней теплый, солнечный, пронизанный птичьим щебетом майский день, и поэтому в комнате стало немного темнее, поэтому в комнате воцарилась глубокая, настороженная тишина, которую через некоторое время нарушил голос Соломона Зифа:

— Вечером к тебе придет Нойке. Он принесет тебе несколько узлов. Я хочу, чтобы ты их спрятал, Ицик, до тех пор, пока не настанут лучшие времена. Я опять становлюсь евреем, который бродит с узлом, Ицик. У меня больше нет магазина, Ицик.

— Долго это не может продолжаться, господин Зиф... Это скоро кончится... На Сарру и Фройке вы можете положиться, господин Зиф... Мы сложим ваши узлы на чердаке. Там они будут в полной сохранности...

Когда Зиф ушел, Фройке, молчаливый, костлявый Фройке сказал:

— Ты поступаешь нехорошо, татэ!

— Я твоего совета не спрашивал, Фройке... Ты кушаешь только картошку да хлеб. Ты забыл, верно, вкус аршина.

Сарра растопила щепками плиту. Радостно возбужденная возилась она с картошкой и огнем. Ицик Файтельсон воспользовался случаем, чтобы согреть свой утюг. Вспрыснув водой изо рта кусок распоротой материи, он в то же мгновение сам совершенно исчез в облаке едкого пара... А Фройке, молчаливый, костля-

вый Фройке опять принялся моргать своим единственным зрячим глазом, как будто этот пар, к которому он успел привыкнуть с детства, сделался еще более едким, нежели обычно.

На что Ицику Файтельсону май с его цветами и беспокойными птицами. На что Ицику Файтельсону июнь с его сладостно-душистым приречным сеном и медвяным липовым цветом. Ицик Файтельсон, сидящий в своей комнате среди вонючих тряпок, не ходит далекими, зазывными дорогами, расходящимися от местечка по всем направлениям. Где-то кипят сражения. Фронт опять придвинулся к местечку, и вечером, когда засыпает дневной шум, даже Ицик Файтельсон, приложив ладонь к уху, слышит доносящийся сквозь открытое окошко грохот отдаленного грома.

— Говорил я тебе, Фройке... Говорил я тебе, что добром это не кончится.

На что Ицику Файтельсону белые и красные. Ицик Файтельсон слишком стар, он слишком стар и мудр для того, чтобы понять совершающееся на свете... Возникает новое государство, с собственным парламентом, собственной армией, полицией, с кабинетом министров, дорогими послами во фраках, с банкетами, на которых не фигурируют ржаной хлеб и вареная картошка с селедкой. Оно рождается в стране, производящей лишь хлеб и картошку, в стране, где урожай льна удачен не каждый год, а лесов недостаточно для того, чтобы содержать министров, парламент, полицию и все, что составляет неотъемлемый придаток каждого государства. Оно гроыхает недалеко от местечка пушками, которые привезены из-за границы, как и дорогие вина, предназначенные для торжества крестин. Оно гроыхает недалеко от местечка у двух речек и хочет властвовать над Ициком Файтельсоном. Какое

дело Ицику Файтельсону до министров и парламента. Ему нужны дешевая картошка и дешевая селедка.

В июле фронт придвинулся к местечку совсем близко. Уже было слышно, как на востоке и западе лаем перекликались пулеметы. Через местечко тянулись обозы и дымящиеся походные кухни.

Какое дело Ицику Файтельсону, бедному еврею, до нарождающегося государства. Уйдут красные, придут белые... Ицику Файтельсону безразлично нарождающееся государство, но ему отнюдь не безразличен Ицик Файтельсон. Где-то громили еврейские торговли. В столице нарождающегося государства газеты собирали статистические данные об избиваемых еврейских студентах. И солдаты, дравшиеся на фронте за свое государство, в которое тогда еще верили, умирали, воодушевленные двойной ненавистью — к большевикам и евреям. Какое же зло причинил нарождающемуся государству Ицик Файтельсон? Почему в то утро, когда через местечко, отстреливаясь, отступали красные, Ицика Файтельсона не было в его комнате? Почему в комнате не было его ножниц и утюга?

Еще не успели проснуться винтовки и пулеметы в то утро, когда Ицик Файтельсон с Фройкой уже взобрались на чердак, где валялся всевозможный хлам и узлы Соломона Зифа; они принесли на чердак все наиболее ценные вещи из своего хозяйства, не исключая и ножниц с утюгом. Сарра Файтельсон, у которой кружилась голова, когда она поднималась по приставной лестнице, осталась внизу; немного погодя она унесла лестницу и спрятала ее среди грядок картофеля, чтобы вид ее не вызывал в ком-либо подозрений или желания заглянуть на чердак, под провалившуюся и обомшелую тесовую крышу.

Сама Сарра Файтельсон спряталась в товарном складе Кнопа. Она спряталась в товарном складе Кнопа, опустошенном мировой войной и впоследствии — революцией. Там стояли огромные чаны, пустопорожние ящики и бочки из-под керосина, среди которых, грызясь между собой, носились костлявые, облезлые крысы, поднимая отчаянную возню. Однако, в то утро крысы не бегали. Они сидели по своим дырам, соблюдая такую же тишину, как и женщины, собравшиеся за бочками и ящиками. Некоторые из женщин держали на руках младенцев, затыкая им рты потемневшими, изжеванными сосцами своих грудей, которые в то утро не давали молока, — затыкали рты так основательно, что младенцы были в состоянии только хрипеть и чихать, когда у них являлось желание заорать во всю глотку.

Жена сапожника Таубе явилась на склад лишь после того, как красные, постреляв, отступили и треск пулеметов отодвинулся дальше; пулеметы продолжали удаляться, подобно разъяренным собакам, вцепляющимся в ноги скачущему коню. Жена сапожника Таубе закуталась в несколько одеял, точно от сильного холода, а в охапке тащила целую грудку всевозможной одежды. Она была мужественная женщина и побежала из склада за своим добром. Тяжело дыша, она бросила ношу на пол и сказала:

— Ну, теперь дело скверно... Сейчас начинается. Я думала, что-таки останусь там...

Не будь жена сапожника Таубе ослеплена неожиданным переходом от дневного света к полумраку, она бы заметила недалеко от себя Сарру Файтельсон; заметь же она Сарру Файтельсон, она предпочла бы откусить себе кончик языка, нежели заговорила бы о Нойке. Но жена сапожника Таубе не заметила жену

портного Файтельсона. Поэтому жена сапожника Таубе продолжала рассказывать о том, чему она была свидетельницей.

— Мне жаль Сарру Файтельсон... Мне кажется, что ей придется немало поплакать над ее Нойке. Вот только-что солдаты увели по улице Нойке. Солдаты не обращались с ним хорошо... Они колотили Нойку не обращались с ним хорошо... Они колотили Нойке ружьями, а Нойке кланялся. Он кланялся, дурак этакий!

На мгновение тишина в складе стала как будто еще глубже. Сарра стояла в оцепенении, не двигаясь, и в горле у нее застряло что-то нехорошее, душившее ее, словно она проглотила клубок Ицика со всеми иголками. Но Сарра Файтельсон обладала сильными легкими и громким голосом. Такой клубок не мог долго заглушать голоса Сарры. Он выскочил из ее глотки вместе с пронзительными воплями:

— Я хочу кричать... Я хочу кричать громче, еще громче...

Сарра бросилась к дверям; она царапалась, она даже кусалась, стараясь высвободиться из рук, удерживавших ее от необдуманных действий.

— Пустите меня... Я хочу бежать к Нойке... Я хочу бежать к моему Нойке...

— Не кричи так, Сарра. Заткни свою глотку, Сарра. Из-за твоей бесстыжей глотки мы все погибнем, если ты ее не заткнешь, — унимала Сарру Юдифь Зильбер, долговязая Юдифь, разъезжавшая по базарам со своими горшками и курившая не хуже любого мужчины.

Юдифь Зильбер сунула Сарре в рот угол шерстяного платка маленькой Идельсон. Впившись зубами в материю, Сарра тихо стонала. Затем соскользнула на пол и, прислонившись спиной к бочке, осталась в таком положении.

В складе время остановилось. Оно почти совсем остановилось, — до того улитоподобно было в тот день течение его. Маленькая Идельсон все время поддерживала под-руку стонавшую Сарру, шепча ей ласковые слова утешения. Она шептала эти слова с таким чувством, словно уже была женой Фройке и невесткой Сарры.

— Сарра заснула, — возвестила она через некоторое время, и все окружающие старались производить по возможности меньше шума и воздерживаться от излишних движений, чтобы не нарушать сна несчастной Сарры Файтельсон.

Может быть, прошел час, может быть, прошло два, когда маленькая Идельсон испустила крик. Верно, сама задремала, утомленная изнурительным возбуждением, — очень уж хрупка она была, эта маленькая Идельсон. Она вскочила на ноги, вся дрожа, подобно осине ночью около еврейского кладбища. Глаза ее стали круглыми от ужаса.

— Сарра совсем холодная. Она холодная, как подвал!

Да, Сарра Файтельсон в самом деле была холодная. Она была в самом деле холодная, как подвал. И поэтому еще долго продолжала дрожать, кутаясь в одеяло жены сапожника Таубе, маленькая Идельсон.

Сарра Файтельсон... Да, Сарра Файтельсон умерла. Стакан из стекла наилучшего качества, если в него налить слишком горячей воды, лопнет... Сердце Сарры Файтельсон было сделано не из плохого стекла.

Сарра Файтельсон сидела, прислонившись спиной к бочке; она сидела, словно живая, впившись зубами в угол шерстяного платка маленькой Идельсон, сделавшегося мокрым и скользким на ощупь от слюны и

пены. Из рта Сарры Файтельсон вылилось много пены. Могло ли выдержать сердце Сарры такой жар.

Ицик лежал на узлах богатого Зифа. Тряпичный портной Ицик Файтельсон лежал в то утро на узлах богатого Зифа. Он лежал на своей старой, негнушейся спине, которая у него сильно болела в то утро, как и каждое утро перед тем, как он принимался за работу. Он лежал, прижав к ноге улегшегося рядом с ним Фройке свою седовласую голову, на темени которой все волосы повылезли уже давно от едкого чада утюга. Фройке лежал на больном животе, но в это утро он не чувствовал, чтобы живот у него болел. Фройке лежал на животе для того, чтобы через проделанную в темной крыше дыру удобнее наблюдать за происходящим во дворе.

На что Фройке один живой и зрячий глаз, если он не сможет смотреть на двор. Фройке видит двор, Фройке видит сквозь раскрытые ворота улицу, по которой, вздымая облака пыли, скачут лошади, грохочут повозки, с криками носятся люди... Фройке видит все и никто не видит его.

Фройке видел и то, как на двор пришел Нойке. Он пришел в сопровождении солдат, которые с криками и гвалтом вели его. Всегда гладко причесанные волосы его на этот раз были взъерошены, как у Фройке, костлявого Фройке с одним глазом. Из носа у Нойке капала кровь; капли ее, смешиваясь со слезами, скатывались на его пиджак, который был весь измазан песком. Он весь был измазан песком, словно Нойке надоело мазаться о кули с белой мукой Соломона Зифа.

Двое солдат с ружьями вели Нойке за руки, а остальные подгоняли ударами прикладов сзади. И при каждом ударе Нойке кланялся. Он привык кланяться. Он привык также улыбаться. Он плакал, одновременно

пытаясь изобразить на своем лице улыбку. Он заставлял себя улыбаться, словно желая сказать:

— Для чего вы устраиваете с бедным еврейским мальчуганом такие болезненные шутки.

Нойке вытянул руку, — он указывал на баню и комнату старого Файтельсона. Фройке не мог расслышать, что сказал Нойке. Однако, Фройке понял все и от ужаса прищурил свой единственный глаз...

— Чего ты трясешься, Фройке? Твоя нога дрыгается как будто собирается выскочить из штанов, Фройке.

— У меня, верно, лихорадка, татэ... Я часто дрожу так...

— Кто это там орет, Фройке? Что они делают в нашей комнате, Фройке?

— Не разговаривай, татэ. Они могут нас услышать, татэ.

Маленький домишко во дворе дрожал, как в лихорадке. Маленький домишко во дворе крепко испугался вооруженных винтовками людей, ввалившихся в него. Люди с винтовками в первую очередь выпотрошили два соломенных тюфяка, оставшихся в комнате портного Файтельсона. Люди с винтовками были так разъярены и кричали так громко, что у флигелька во дворе выскочили все зубы; все стекла выскочили у флигелька во дворе. Затем люди с винтовками бросились в баню, где царила кислая и влажная прохлада, а в глубине высился большой черный полок... Им не понравилось в бане. Поэтому они выбежали во двор еще более разъяренные.

— Ты наврал нам, жабье отродье! Сюда люди приходили только по субботам, когда баня топилась.

— У тебя хорошие башмаки и пиджак. Не воображай, что мы — отпетые дураки и станем искать твоего отца под полком в бане.

— Так говорили они; но говорили только некоторые, так как большинство просто кричало:

— Скидывай штаны! Скидывай штаны, иначе еще измажешь их своей поганой кровью.

— Скидывай башмаки, жабе отродье!

И Нойке опустился на землю между двумя людьми с винтовками и стал снимать башмаки. Он понял, что хотели делать с ним люди с винтовками. Он снимал башмаки и орал во всю глотку. У него были сильные легкие, унаследованные им от матери — Сарры Файтельсон.

Ицик Файтельсон был глуховат, но все же ему удалось кое-что уловить. Он поднял голову, и его постоянно красные и узкие глаза сделались большими, как пуговицы на зимнем пальто.

— Фройке... Фройке... Там кричит Нойке...

— Я смотрю, татэ... Тебе послышалось, татэ... Это один чужой еврей кричал там.

Ицик Файтельсон снова опустил голову на узлы Соломона Зифа.

Фройке смотрел. Фройке смотрел своим единственным глазом. Он видел, как скидывал штаны Нойке. Он видел также и то, как медленно поднималось дуло одной из винтовок, направляясь на затылок Нойке. Фройке, большой костлявый Фройке прищурил свой единственный глаз, когда дуло винтовки выжидательно остановилось против затылка Нойке.

— Заткни, татэ, уши пальцами... Они собираются стрелять, татэ...

Нойке уже снял штаны; он хотел подняться на ноги, когда выстрел свалил его. Он не успел даже крикнуть. Он растянулся за несколько шагов от порога Ицика Файтельсона. Он даже не вскрикнул, но одна нога продолжала еще некоторое время двигаться в коленном

суставе. Она двигалась так забавно, что люди с винтовками хохотали, показывая на нее рукой. Нойке кланялся. Нойке все еще продолжал кланяться.

— Чего они там стреляли, Фройке?... Не расстреляли ли они того чужого еврея?

— Нет, татэ... Они пристрелили нашу козу. Она брыкалась и не хотела идти с ними.

— Хвала богу, Фройке... Я думаю, что мы отлично можем обходиться без козьего молока.

— Да, татэ...

Люди с винтовками не стали больше искать портного Файтельсона. Портной, живущий под одной крышей с баней, недостоин чести, чтобы его разыскивали люди с винтовками. Они ушли, волоча за ноги Нойке. А Нойке проявлял безумное веселье: он размахивал руками и забавно потрясал растерзанной головой.

Фройке снова стал смотреть своим единственным глазом. Он видел, как Нойке бросили на фуру, на которой уже валялось несколько человек со свесившимися через край руками. Фройке видел, как фура укатила. Но Фройке не знал, для чего фура увезла Нойке, как будто убитый еврейский мальчуган мог еще представлять какую-либо ценность. Фройке не знал, что демократический характер нарождающегося государства не мог допустить, чтобы Нойке остался валяться посреди двора с пробитой головой. Фройке не задумывался также о том, существует ли такая статистика, которая собирает данные о брошенных на фуру людях. Фройке в этот момент просто совсем не думал.

Нойке уехал. Нойке уехал на фуре и, свесив через край ее руку, махал ею Фройке, глядевшему ему вслед своим единственным глазом.

Около полудня где-то на базарной площади загремел оркестр. Около полудня улицы наполнились

празднично настроенными, радостными людьми. И среди них Фройке увидел также несколько евреев. Когда в воротах остановился Соломон Зиф, Фройке уже знал, что нужно делать.

— Татэ, я спущусь вниз. В воротах стоит господин Зиф. Он не входит во двор. Я думаю, что он беспокоится о своих уздах.

Переговорив с Зифом, который отошел от ворот заметно приободренный, костлявый Фройке притащил приставную лестницу, и Ицик Файтельсон, длинный и негнувшийся, спустился во двор, держа в руках ножницы и повесив на шею сантиметровую мерку.

В первую очередь он заглянул в комнату. Нацепив на кончик носа свои очки в медной оправе, он печально покачал головой.

— У Сарры здесь будет много дела, Фройке.

А Фройке на это сказал:

— Ты спрашивал о Нойке, татэ... Господин Зиф велел передать, что он послал Нойке в город за товаром. Господин Зиф снова открывает магазин.

Ицик Файтельсон совсем забыл о козе. Солнце светило так ласково и день был такой радостный, что Ицик Файтельсон вспомнил о козе лишь тогда, когда его голая нога поскользнулась на чем-то мокром. Это была кровь.

— Верно, здесь они убили нашу козу, Фройке.

Но костлявый Фройке с толстой башкой молчал. Фройке молчал, но не молчала коза. Услышав, вероятно, голос Ицика Файтельсона, она заблеяла так громко, она встретила его столь звонким приветствием, что даже глуховатые уши Ицика Файтельсона услышали это приветствие.

— Фройке... Ты слышал, Фройке?

Подбежав к закутку, где помещалась коза, Ицик Файтельсон рванул дверцу, и его очки в медной оправе блеснули радостью: коза была на месте.

— Фройке, погляди, наша коза здесь... Почему ты не смеешься, Фройке... Ты, очевидно, ошибся... Они застрелили другую козу... Хвала нашему богу...

Фройке с толстой башкой не смеялся. Он стоял, прижавшись к косяку дверей, и оба глаза его плакали.

Мне не хочется больше рассказывать о Сарре Файтельсон, о последнем пути, который она проделала от товарного склада Кнопа до кладбища. На кладбище она отправилась босая. Деревянные башмаки и корзина, большая, сплетенная из лыка корзина остались Фройке. Вы спрашиваете, что делал Ицик Файтельсон в то время, когда Сарра совершала свой последний путь... Ну, что мог он делать в такие тяжелые дни. Я лучше скажу, чего он не делал. В течение двух дней он не перебирал свои тряпки и не ел свой десяток картофелин. На третий день он начал есть картошку и перебирать тряпки. На третий день он сказал:

— Не кажется ли тебе, Фройке, что наш Нойке мог бы уже вернуться.

Нет, Нойке не мог еще вернуться. Фройке высчитал, — так прямо на пальцах и высчитал, что Нойке не в состоянии вернуться раньше двух недель.

Ицик Файтельсон принялся считать дни. Но когда он добрался до тринадцатого дня, Фройке пришел со своей корзиной с базара в весьма радостном настроении:

— Нойке получил в городе хорошее место, татэ... Он написал господину Зифу и велел передать поклонны тебе и мне...

Мир хочет смеяться. Еще больше он хочет смеяться в тяжелые времена. И в местечке было немало людей,

смеявшихся над глупым Файтельсоном, который ожидает вестей от своего Нойке. Об Ицике Файтельсоне рассказывали множество смешных историй. Находились и такие, которые являлись посмеяться и позабыться к самому Ицику; они подталкивали друг друга кулаками в бок, однако, лица их обычно выражали большую дозу сочувствия и изумления, когда Ицик Файтельсон рассказывал об успехах своего Нойке. Фройке в таких случаях ерзал на своем столе с таким видом, словно все иголки Ицика Файтельсона впивались в его тело. Он умоляюще моргал своим единственным глазом и предостерегающе закрывал себе пальцем рот.

В складе, где навсегда умолкла Сарра Файтельсон, крысы сделались веселее. Они сделались немного глаже и веселее. И склад снова находился под замком, с железной перекладной на двери. У Кнопа на складе опять появился товар, — это и послужило причиной хорошего настроения крыс. А другой склад, тоже немало пострадавший от военных передраг, спешно готовили под партию льна, — не могла же война вытоптать решительно все посеvy льна.

Кноп, толстый, благодушно-круглый Кноп был любителем шуток. Во времена большевиков ему не пришлось смеяться. Поэтому в эти дни он смеялся больше обычного.

Когда Кноп вошел к Ицику Файтельсону, Фройке понял, что Кнопу хочется смеяться. Фройке умоляюще заморгал своим единственным глазом и предостерегающе приложил палец к губам.

— Я был в городе, Файтельсон... Я ездил покупать новый товар для своей лавчонки у самой крупной и богатой фирмы. Файтельсон, тебе известна такая фирма: Петер Иокс?

— Нет, господин.

— Ты — настоящий Петер-шутник *), Файтельсон. Тебе неизвестна эта фирма? Тебе неизвестна эта фирма, главным руководителем которой состоит твой Нойке? Я был прямо поражен... Ей-богу, я был поражен, когда увидел твоего Нойке.

— Не ошиблись ли вы, господин Кноп? Мне не хочется верить такой радостной вести, господин Кноп.

— Я никогда не ошибаюсь, Файтельсон. В ночное время я по цвету отличу настоящий полтинник от фальшивого...

— Фройке... Ты слышишь, Фройке, что рассказывает господин Кноп? Вы очень обрадовали нас с Фройке, господин Кноп... Мой Нойке всегда был умным мальчишкой... Я всегда думал, что из Нойке выйдет что-нибудь хорошее... Пусть поможет бог добрым людям, которые помогли моему Нойке, господин Кноп.

— Ой-ой!

— Что с тобой, Фройке? Чего ты пугаешь господина Кнопа, бесстыжий Фройке.

— Я уколол себе палец... Я очень больно уколол себе палец, татэ.

Благодушно-круглый Кноп ушел очень довольный: он унес с собой новую историю о тряпичном портном Файтельсоне, который гордится фирмой Петер Иокс и ее главным руководителем — Нойке Файтельсоном.

Да, Ицик Файтельсон гордился своим Нойке. Но иногда случалось, что он принимался задумчиво покачивать головой над своим Нойке.

*) Игра слов: Петер Иокс—Петр-шутник.

— Не кажется ли тебе, Фройке, что он о нас позабыл. Мне не хочется верить, что он — неблагодарный сын, наш Нойке.

Ицик Файтельсон носил очки в медной оправе. Но мог ли он сквозь эти очки заглядывать в человеческие сердца. Мог ли он сквозь эти очки заглянуть в сердце и кошелек Фройке. Фройке ходит по базару с корзиной и при каждой покупке у него кое-что остается. Если не удастся сберечь три копейки, он откладывает две; если не удастся сберечь две, он удовлетворяется одной. Да, он тогда удовлетворяется одним государственным рублем, который стоит копейку. Повысилась ли ценность копейки от того, что ее называли рублем? Сделался ли писатель Винадарас умнее и честнее от того, что сидит в парламенте нового государства? Копейка зовется рублем, — копейка тоже не прочь сыграть в высокую политику. Почему же Фройке, костлявому, одноглазому, с толстой башкой, обходиться вовсе без политики? И у него имеется своя политика, когда он складывает друг к дружке тщеславные копейки, желающие называться рублями. Они столь же тщеславны, эти копейки, как единственный вооруженный пароход, называющий себя флотом и чувствующий себя так, словно океан ему по колено.

Нет, Нойке не был дурным сыном. С деревьев в тот день осыпалась желтая осень. Войдя в комнату со своей корзиной, Фройке оставил за дверью неприятный, туманный и слезливый день. Сам же он был настроен радостно, этот Фройке с толстой башкой. С торжественным видом он достал из корзины изящно завернутый пакет.

— Я был у Зифа, татэ.. Вот тут тебе кое-что прислал через господина Зифа наш Нойке...

— Что же это он нам прислал, этот проказник Нойке?

Фройке смотрел своим единственным живым глазом. Сиявший радостью взгляд его переходил от отцовского лба вниз до его пальцев и снова назад, задерживаясь на полдороге около дрожавших от волнения губ.

Наконец, Ицику Файтельсону удалось развязать бечевку и развернуть бумагу.

— Туфли. Мягкие теплые туфли, Фройке. Точно кто-нибудь сказал ему, этому нашему Нойке, что у меня в этом году мерзнут ноги...

Ицик Файтельсон держал в каждой руке по туфле. Это были суконные туфли, подметка у них была из толстой, добротной кожи. На дворе стояла серая осень, а на туфлях ярко распускались голубые, желтые и красные цветы.

— Понюхай, Фройке, как пахнет кожа. Фройке, мне кажется, что Сарра обрадовалась бы этим туфлям еще больше нас с тобой.

Он долго не решался надеть их. А когда надел, то долго смотрел на них и, наконец, промолвил:

— Я всегда ожидал этого, Фройке... Я всегда думал, что из Нойке выйдет что-нибудь хорошее.

Ицик Файтельсон, просидевший всю жизнь на своем столе с сантиметровой меркой на шее, восстал. Да, в этом не оставалось никаких сомнений: в тот день, когда он швырнул Фройке в физиономию мягкие туфли с голубыми, желтыми и красными цветами, Ицик Файтельсон восстал. Он восстал не только против Фройке, — он совершенно бессознательно восстал также против существующего порядка и государства. Он отказался пребывать и впредь гражданином государства, — этот Ицик Файтельсон.

Фройке вошел в громко стучащих башмаках; он поставил на скамью корзину с покупками и отряхнул снег с себя. Фройке уже собрался было взбираться на

стол, как Ицик Файтельсон поднял голову, которую он при входе Фройке держал крепко зажатой между обеими ладонями.

— Посмотри мне в глаза, Фройке. Я хочу задать тебе вопрос, Фройке.

— Я задержался, татэ, на базаре. Сегодня большой базар, и я долго выбирал.

— Ты опять был у Зифа?

— Нет, татэ, на этот раз я не был у Зифа.

— Скажи мне, Фройке... Смотри мне в глаза Фройке... У тебя всего один глаз, да и тот хочет солгать. Скажи мне, Фройке, эти туфли в самом деле прислал мне Нойке?

— Да, татэ.

— Не отводи свой глаз, Фройке... Скажи мне, Фройке: велел ли он в самом деле передать мне поклон?

— Он часто посылает нам поклоны, татэ.

— Ты лжешь, Фройке... Ты бесстыдно лжешь, Фройке. Ты насмехаешься надо мной... Ты все время насмехался над твоим старым отцом... Мертвые не могут посылать поклоны живым... Почему ты так бесстыдно лгал мне, Фройке?

Фройке, костлявый Фройке с толстой башкой словно оцепенел. Он молчал, шмыгая носом и моргая своим единственным глазом. Ицик Файтельсон между тем вцепился обеими руками в его рукав. Ицик Файтельсон встряхивал Фройку с необычайной силой, безостановочно повторя одно и то же:

— Почему ты лгал, Фройке? Почему ты насмехался надо мной, Фройке?

Фройке с усилием выдавил из себя несколько беззвучных слов, — до того он был ошеломлен и убит, этот костлявый Фройке, с большой головой и одним глазом.

— Я не насмехался над тобой, татэ... Мне было жаль тебя, татэ...

Ицик отпустил Фройке. Ицик смотрел на него с таким выражением, словно тот сообщил ему нечто поразительно-неожиданное и убийственное.

— Стало быть, они сказали мне правду, Фройке? Нойке умер, Фройке?

— Да, татэ, они сказали тебе правду.

Ицик Файтельсон сорвал с ног туфли с голубыми, желтыми и красными цветами. Он сорвал туфли, чтобы швырнуть их Фройке в физиономию.

— Убирайся, Фройке... Я не хочу тебя видеть, Фройке, с твоей бесстыжей башкой. Убирайся, Фройке, и затвори дверь за собой так, чтобы она больше никогда не отворялась для тебя. Скорее убирайся, Фройке!

Ицик Файтельсон больше не кричал. Он говорил так, словно страдал от зубной боли, и тихо стонал.

Фройке вышел. Посидев некоторое время на дворе, он вышел к воротам, мимо которых, подбрасывая копытами снег, пробегали лошади и приятно скрипели полозья.

Ицик Файтельсон запретил Фройке открывать дверь. Поэтому Фройке ограничился тихим стуком. Когда никто не ответил, он постучал громче. Затем нажал на ручку, — дверь не подавалась. Ицик Файтельсон, вероятно, задвинул засов. Фройке стал стучать сильнее. И с каждым ударом все больше рос в нем ужас от царившего за дверью безмолвия. Фройке уже не стучал, а колотил в дверь кулаками...

— Татэ... татэ...

Он колотил громко и долго; он наваливался на дверь плечом; он кричал так громко и дергал так сильно, что дверь выскочила из петель.

Ицик Файтельсон был мертв. Он повесился на пояском ремне Фройке. Он до того высох, что висел на гвозде легко, точно старое, изношенное принесенное в починку пальто. Рот у него был разинут, словно он хотел похвастать перед всем миром своими двумя сохранившимися и пожелтевшими от старости передними зубами.

Да, Ицик Файтельсон был мертв. Он висел на пояском ремне Фройке, а на шее по обыкновению болталась сантиметровая мерка. Но Ицик Файтельсон не только умер, — он восстал. Он, вероятно, был одним из первых, отказавшихся быть подданными нового государства. И ушел, злобно оскалив свои последние, пожелтевшие от старости зубы.

Вы спрашиваете, что случилось с Фройке, костлявым Фройке, с толстой башкой и одним глазом? Я не знаю. Он ушел из местечка в тот же день, когда Ицик Файтельсон обрел вечный покой возле своей Сарры.

От местечка дороги расходятся по всем направлениям. И среди них, верно, есть и такая, которая ведет в обширный мир.

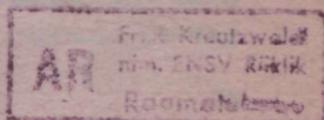
СИБИРИ
«Сибирский государственный университет»

Л. ЛАЙЦЕН

ГИБЕЛЬ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО ФЛОТА

Перевод с латышского
Э. С.

Линард Лайцен (род. в 1883 г.) — вождь левого крыла молодой латышской литературы. Примкнув после 1917 г. к революционному пролетариату, подвергался многочисленным преследованиям. Выдвинулся книгой рассказов — «Оправданные». В настоящее время находится в Латвии, где издает и редактирует журнал «Левый фронт».



L. LAIZENS

«Widus juhras flotes bojâeja»

Л. ЛАЙЗЕНС

ЛИБРА

СРЕДНЕМОРОСКОГО

ФЛОТА

Второй том

Этот том посвящен истории флота в 1883 году. В нем описаны события, связанные с деятельностью флота в этот период. В частности, речь идет о различных операциях и мероприятиях, проводившихся в этот период. Этот том является продолжением предыдущего и содержит много интересной информации о деятельности флота в этот период.

В течение шести месяцев все приключения в 315 камере были рассказаны и вечером после переклички наступала томительная скука. Не помогала тайная игра в карты, происходившая по темным углам вопреки воле большинства; не помогали дискуссии и обсуждения самых разнообразных животрепещущих вопросов. Нужна была перемена, — это было единственное средство. Приходилось искать выхода. Необходимость заставляла, и в конце концов временный выход был найден.

Приведенный в камеру последним инвалид войны Земран, потерявший почти половину трудоспособности, провел наиболее богатую приключениями пору своей жизни бок-о-бок со старым коммунаром, который уже рассказал свою историю. Таким образом Земрану оставалось либо повторить уже рассказанное, либо ограничиться передачей личных психологических моментов. Так как он не хотел делать ни того, ни другого, то ему пришлось первому сделать почин в новом начинании: рассказать выдуманную историю. Благодаря тому, что в молодости он был моряком, подобная задача не представляла для него особых затруднений. Создание канвы рассказа стоило

ему только одного дня беспрестанного расхаживания взад и вперед по камере.

— Мой рассказ будет утопическим, невероятным, но в то же время правдоподобным, — заявил Земран.

— Несовместимые вещи! — раздавались голоса, но Земран, не обращая на них внимания, продолжал:

— А назову я его: «Британская морская база или гибельный путь». Немедленно после заглавия следует рассказ.

Это было в один из тех годов после войны, когда мне в качестве офицера «армии спасения» пришлось предпринять сравнительно продолжительное путешествие по европейскому континенту и островам, за исключением Британских. Нагрузив себя множеством саквояжей и чемоданов, наполненных главным образом воззваниями нашей организации и другой литературой, я в ветреный январский день покинул на товаро-пассажирском пароходе «Капитан Кук» устье Темзы.

Несмотря на то, что мундир офицера «армии спасения» в фуражке с красным околышем открывал передо мной двери всех судовых помещений, мою работу на корабле нельзя было назвать успешной. Пассажиры откупались от меня несколькими жалкими грошами и для вида брали мою литературу, чтобы потом выбросить ее за борт. Матросы же отказывались принимать даже малейший обрывок бумаги, да еще преследовали меня колкими замечаниями. Особенно отличался молодой матрос военного флота, следовавший из отпуска к месту службы на острове Мальте и извергавший целые потоки кощунственных речей против господина нашего Иисуса и святого спасения.

При виде этого я пришел к заключению, что никто так не нуждается в проповеди спасения, как моряки,

в особенности матросы военного флота и главным образом на острове Мальте. Поэтому еще в самом начале путешествия я решил изменить намеченный маршрут и отправиться прямым путем на Мальту — базу британского средиземноморского флота. Несколько тысяч сосредоточенных там моряков представляли собою в высшей степени благодарный материал для моей деятельности. Еслиб мне удалось обратить из них хоть одну сотню, я мог рассчитывать на повышение, увеличение жалованья и приобретение более высокого положения, так как семья моя была обеспечена далеко не блестяще, а мой собственный образ жизни ни в коем случае не мог считаться достойным богатыми заслугами и солидного человека.

В Генуе пришлось покинуть пароход и отправиться в распоряжение итальянского отдела нашей армии, чтобы поработать некоторое время среди итальянцев, но после длительного объяснения, подкрепленного целым рядом веских доводов, мне удалось получить командировку непосредственно на Мальту.

После долгого и утомительного странствования по итальянским городам я в один прекрасный вечер сел в Сиракузах на итальянский пароход, — английских судов в гавани не было, — и отправился в путь. Пароход, поддерживавший сообщение между Неаполем, Сиракузами и Триполи, был небольшой и ветхий. Чтобы заранее освоиться с предстоящими тяготами и обстановкой будущей работы, я ехал не в каюте второго класса, а во внутрипалубном помещении, где собрались искатели удачи, рассчитывавшие разбогатеть в Африке, фашистские милиционеры, отправлявшиеся туда на службу, и новобранцы-матросы, отбывавшие воинскую повинность в колониях. Эти люди шумели и галдели целые ночи напролет, распевая или

наигрывая на гармониках первые аккорды фашистского гимна, приставая друг к другу, вступая один с другим в единоборство и вопя во всю мочь своих легких.

Под утро, когда судно сильно раскачивало, меня разбудил ударом кулака в бок долговязый чернорубашечник, заявляя, что я украл у него шапку. Узнав во мне англичанина, представителя зажиточной нации туристов, он старался излить на меня весь свой гнев. Однако, когда утром пароход подходил к Мальте и вдали обрисовались освещенные солнцем скалистые горные гребни острова, я пришел к заключению, что поступил правильно, добровольно подвергнув себя подобному испытанию, так как член «армии спасения» должен уметь переносить любое унижение и со смирением в сердце выслушивать самые грубые оскорбления. Успокоив себя этой мыслью, я стоял на палубе под лучами южного солнца, не раскаиваясь в своем решении поселиться среди этих людей, валявшихся теперь на истоптанных мешках железных нар.

Многим кое-что известно о Мальте и рыцарях Мальтийского ордена, но крест его знаком всем, кто видел крест рыцарей Ливонского ордена.

Остров представляет собою оголенную желтовато-серую массу, — таково первое впечатление при приближении к нему. По обеим сторонам узкого канала, соединяющего гавань с открытым морем, у входа в бухту высятся на высеченных в скалах позициях чудесные крепостные орудия нашей могущественной родины. При виде их мой мозг осенила возвышенная мысль: если бы я мог уподобиться одному из этих сорока- или шестидесятисантиметровых орудий, если бы я был в состоянии громить ураганным огнем божьего слова каждое судно, приближающееся к крепости господа бога.

В то время, как я рассматривал батареи и жерла орудий, пароход, миновав канал, в котором едва могли разойтись два крупных судна, вошел в обширную, защищенную со всех сторон скалами гавань, где его встретил катер портовой полиции.

Подняв глаза, я одним взглядом охватил поле своей будущей деятельности: оно было громадно. Ряды крейсеров, ряды миноносцев, ряды подводных лодок, разукрашенных флагами, с дымящимися трубами, иссиня-серые, стояли на якоре. На них кишели люди: здесь происходило строевое обучение на палубе, там занимались сигнализацией, еще дальше шли гребные состязания со вздымающимися в такт рядами весел. Лишь через некоторое время я заметил, что некоторые крейсера приветствовали наш пароход поднятием и спуском флага.

Не обращая внимания на облепившие итальянский пароход лодки мальтийских торговцев табаком, открытками и напитками, я распорядился перегрузить мои чемоданы с литературой на одно из суденышек, поддерживавших сообщение с городом, и сам съехал на берег.

Валетта, столица Мальты, со своим восьмидесяти-тысячным населением существовала, повидимому, лишь благодаря тому, что существовали корабли, транспорт и моряки. Гавани Мальты не минует ни одно судно, направляющееся из Адриатического моря в Африку, как не минуют корабли, держащие путь от Гибралтара на восток — в Босфор, Афины, Александрию. В Мальту вынуждены заходить также суда, плывущие в Бомбей и Шанхай.

Взобравшись наверх по извилистой, как бы многоэтажной дороге, я поселился в одной из центральных гостиниц, откуда был намерен начать свою работу.

В чем она заключается — вам известно, но начало ее не так уже просто, как может показаться с первого взгляда. В первую очередь я обратился к морскому начальству с просьбой узаконить мои посещения военных кораблей, чтобы войти в непосредственное соприкосновение с матросами и раздать им наши брошюры и листовки. К величайшему моему удивлению, морской офицер, к которому я обратился, не только отказал в моей просьбе, но дал еще понять, что не советует пытаться вести работу среди моряков. Он заявил, что эти люди слишком глубоко погрязли в разгуле и разврате, вследствие чего нуждаются не в духовном врачевании, а в помощи научной медицины.

Подобная история случалась со мной впервые. Правительственные учреждения всюду охотно шли навстречу «армии спасения», так как государства считали нашу деятельность в высшей степени полезной, находя, что она способствует удержанию простонародья и толпы в границах порядка и в повиновении существующему государственному строю, являясь противоядием против агитации и влияния социалистов и трэджюнионов. Поэтому необъяснимое поведение морского офицера не только огорчило меня: я почувствовал себя оскорбленным, и во мне поднялось известное упрямство. Результатом этого упрямства явилось то, что я обратился к своему непосредственному начальству в Лондоне с ходатайством выхлопотать для меня в адмиралтействе необходимое разрешение независимо от личных взглядов и настроений местного морского командования.

В ожидании ответа в моем распоряжении оказалось достаточно времени для ознакомления с городом и окрестностями, а также для наблюдения над уличной и портовой жизнью. Город Валетта разбросан на

нескольких скалистых хребтах. Вследствие недостаточной влажности почвы деревья в городе встречаются редко и пальмовая аллея составляет единственное зеленое насаждение.

Это было место прогулок граждан по вечерам и праздничным дням. По аллее прохаживались мальтийские дамы, одетые во все черное, с широкой полосой черной материи на голове и веером в руке, речью и внешностью напоминавшие итальянок. Однако, благодаря своим костюмам они скорее могли сойти за монахинь какого-нибудь средневекового ордена, чем за современных дам. Даже нищенки у дороги не расставались с типичным головным убором мальтийской женщины — выцветшей и изношенной полосой материи на затылке. Если буржуазные женщины скрывались и прятались под черной материей, то в портовых кварталах женская нагота — во всем своем искустельном бесстыдстве.

Так как портовый район представлял собою поле моей будущей деятельности, я начал ближе приглядываться и подробнее изучать его. Прежде чем перейти к дальнейшему, я должен рассказать следующий характерный случай.

Ознакомившись в течение трех дней после прибытия с главными центральными улицами, я решил спуститься к гавани и на перекрестке обратился к краснолицему полисмену с вопросом, каким образом пройти туда кратчайшим путем. Приложив руку к козырьку, полисмен ответил:

— Кратчайшим путем, сэр, вы пройдете по улицам, идущим влево от вас, но я советовал бы вам избрать окольный путь, сэр. Поэтому поверните вправо.

Я послушался указания полисмена и, не требуя дальнейших разъяснений, двинулся в указанном им

направлении, но, пройдя некоторое расстояние, задал себе вопрос: почему кратчайший путь — лучший. И почему именно полисмен советовал избегать его. Нужно было удостовериться.

Обойдя полисмена, я углубился в один из переулков и вышел на улицу, которой должен был избегать. Однако, не прошло и десяти минут, как я очутился в районе, где ничего не было, кроме кабаков и таверн в каждом доме, в каждом из бесчисленных переулков.

Был воскресный вечер и улицы кишели народом, так-что я с трудом протискивался сквозь толпу. Всюду были матросы, матросы и женщины. Женщины посреди улицы, женщины на тротуарах, женщины в дверях таверн, женщины в окнах, за столиками, за буфетами. Двери таверн были устроены таким образом, что верхняя часть их на высоте человеческого роста оставалась открытой, что давало прохожим возможность заглянуть внутрь и убедиться, имеются ли еще свободные места и как обстоит дело с женщинами.

Матросы плясали под завывающие звуки гармоник, потрясая широчайшими штанами, — плясали в одиночку, плясали парами, плясали с женщинами. Матросы распевали посреди улицы, распевали хором, распевали с женщинами, распевали в одиночку. Матросы переругивались между собой, переругивались с женщинами, переругивались с прохожими. Матросы сидели в тавернах за столиками, курили, напивались — в одиночку, вдвоем, компаниями по десять человек, с женщинами. Матросы расходились по коридорам, комнатам, кроватям — с опиевыми сигаретками, виски, с женщинами.

О, женщины, о, матросы, о, развлечения моряка! Каких только женщин там не было: с обнаженными руками, ногами, грудью, напудренные и раскрашенные

в белый, красный, розовый, синеватый, зеленоватый цвета. Какие невероятные положения принимали их усталые ноги, как они кокетничали своими обведенными черными глазами. Пылающие сигареты в алых губах, дымящие беспрестанно. Пылающие сигареты в матросских зубах, дымящие беспрестанно...

Освещенные и кишащие народом вечерние улицы казались окутанными розоватыми испарениями виски, огня, измызанной любви и дымом сигаретт. Таково было мое первое впечатление от портового района, этого матросского рынка любви.

Прошло не меньше двух часов прежде чем я выбрался из этого квартала и достиг набережной. Теперь я понял, что полисмен, действительно, указал мне кратчайший путь. Однако, я отнюдь не рассказывался, что не последовал совету полисмана: я увидел вблизи поле моей деятельности. Нужны были целые легионы закаленных бойцов «армии спасения», способные вести наступление день и ночь в течение многих месяцев и лет.

— Господи, боже, небесный отец наш! — воскликнул я мысленно. — Да грянет глас твоей боевой трубы из моих чемоданов с литературой, да засвистят снаряды моих брошюр из рук моих помощников и да загрохочут пушки моего слова, уничтожая человеческую мерзость!

С тех пор я ежевечерне посещал эту базу моряков, и в конце-концов мне стало казаться, что в процессе разведки и подготовки наступления я даже полюбил эти улицы. Несмотря на то, что в будние дни народу было несравненно меньше, чем в день господень, музыка, ругань, песни, пляски, визг и крик продолжались далеко за полночь. Еще после трех часов можно было наблюдать запоздалых гуляк, пробиравшихся вдоль

стен, обмякших, в сдвинутых на-бок фуражках и измятых блузах. Время-от-времени, напоминая кошачьи крики, раздавались протестующие вопли обиженных женщин, павших жертвами обмана и не получивших платы за любовь. Иногда они раздражались потоком бесстыдной брани или принимались плакать навзрыд, причем слезы, катясь по густо напудренным и покрашенным щекам, причиняли такие опустошения на лице, которые можно сравнить только с разрушениями, причиняемыми обвалами в горах. Впрочем, возможно, что души их, — я пользуюсь этим словом за неимением другого, — возможно, что души их подвергались опустошениям не меньшим, чем тела.

Вам, конечно, неизвестны быстрота и уверенность, с какими действует наш штаб. Я не успел еще, как следует, осмотреться в кварталах матросских увеселений, как получил из Лондона приказ: военных кораблей не посещать, организовать отряды в городе и действовать по собственному усмотрению применительно к обстоятельствам.

Я чувствовал себя задетым тем, что морской офицер одержал верх надо мной—офицером «армии спасения». И эта-то обида явилась причиной, заставившей меня взяться за работу с утроенной энергией, благодаря чему я в течение одной недели успел организовать несколько сторожевых постов, а через полгода мог с уверенностью говорить о целом корпусе армии спасения на улицах Валетты.

Мой корпус состоял из самых разнообразных людей: были молодые и старые, мужчины и женщины, не исключая даже детей. Вначале бойцы прогуливались попарно по наиболее благополучным улицам, как бы готовясь к атаке, но пока еще не заходя в матросский квартал. Лишь после того как закончи-

лось формирование первого полка и из Лондона поступили достаточные средства, я предпринял свой наступательный маневр в полной боевой готовности. С барабанным боем, под звуки труб и литавр мы маршировали по главным улицам Валетты, а в один воскресный вечер прорвались сквозь толпы гуляющих в портовый район. С громкими песнями, барабанным боем и музыкой ринулись мы вдоль рядов таверн, разбрасывая наши воззвания. Песня, сочиненная мною специально для этого похода, начиналась словами:

«Божий дредноут рассечет ваши сердца, как океанские волны»...

Первое впечатление от нашего выступления получилось поразительное. Пляски и песни мгновенно прекратились, матросы выстроились вдоль улицы, женщины облепили окна таверн напудренными лицами с полукрытыми от изумления алыми губами. Мне казалось, что пары алкоголя и мерзости сразу рассеялись. Как бы то ни было, но замешательство достигло такой степени, что позже, когда мы по одиночке возвратились для разведки, оказалось, что вместо того, чтобы предаваться пляскам и разврату, большинство женщин читало разбросанную нами литературу.

Демонстрация удалась, а за ней последовало самое главное: по целым ночам наши бойцы переходили из улицы в улицу, от дверей к дверям, из одной таверны в другую, от матроса к матросу, от одной падшей к другой. Какие только унижения, насмешки и издевательства не пришлось перенести нашим воинам! Невинность и целомудрие наших женщин подвергались грозной опасности на каждом перекрестке. После ударной и ожесточенной борьбы, длившейся несколько месяцев, некоторые из увеселительных заведений вы-

нуждены были закрыться за недостатком посетителей. Зато в остальные таверны бойцы нашей армии имели возможность проникнуть только в сопровождении полисмена.

Но по мере того как росли затруднения и сопротивление становилось упорнее, росла и моя настойчивость. Каждое воскресенье мы устраивали на перекрестках в матросском квартале лекции в сопровождении световых картин на стенах домов. Эти картины изображали вредные последствия пьянства и разврата, а также умиротворенность человека спасенного. Каждую ночь патрули наших бойцов дежурили на улицах, у ворот, у входов в таверны, под окнами, около пристаней, — всюду, где собирались или проходили моряки. Они распевали песни спасения и неустанно призывали к обращению. Наши барабаны грохотали, беспрестанно призывая, напоминая, пугая, предостерегая. Наши научно обоснованные лозунги отличались грубостью: «Спасение зависит от состояния твоего желудка», «Ты болен, если тебя рвет от виски и опиевых сигарет».

Мы считали своим долгом подчеркивать, навязывать с корректным нахальством и беззастенчивостью нашу литературу всякому, у кого ее не было в руке. Не буду говорить о всевозможных тактических приемах, выработанных практикой нашей армии, но продолжающих оставаться тайной нашего штаба, разглашение которой не допускается. Замечу лишь мимоходом, что противники наши называют эти приемы мошенничеством и околпачиванием людей. Рассуждая таким образом, наши противники глубоко ошибаются. Чтобы доказать это, я перейду непосредственно к результатам деятельности нашей армии на улицах Валетты.

Еслиб я хотел похвастаться, то мне следовало бы начать с самого себя и подчеркнуть, что скоро я стал генералом и командиром корпуса, быстро достигнув, таким образом, поставленной вначале цели. Казалось бы, что в таком случае стремление к другим целям явилось бы ханжеством. Подобная оценка вполне возможна, еслиб не результаты моей деятельности, свидетельствующие об обратном.

В течение года наш корпус достиг того, что в квартале матросских увеселений, как я его прозвал, совершенно прекратились песни, пляски, пьянство, драка и другие гнусности. Многие из падших женщин этого квартала работали в нашей армии в качестве бойцов, а некоторые были возведены даже в звание офицеров. Окна таверн оставались день и ночь с закрытыми ставнями и затянутыми паутиной дверями, либо обрелись в частные квартиры, заселенные семьями рабочих и торговцев. В сохранившихся кабаках проводили время уже не матросы местной эскадры, а только проезжие, сходявшие на берег временно.

Противники наши утверждали, что причиной наших успехов явились не спасительная сила божьего слова, раскаяние в прошлом и убеждение в гнусности пьянства и разврата, а просто тот шум, который мы поднимали на улицах Валетты, и особенно в матросском квартале, а также навязчивость и нахальство наших бойцов. Они уверяли, что только наши барабаны и трубы прогнали радость и веселье с этих улиц. Возможно, конечно, что они до известной степени правы, так как мало приятного веселиться под укоризненными взглядами наших бойцов, среди грома наших песен и музыки, заглушавших неорганизованные проявления радости моряков. В общем же нет никакой надобности доискиваться причин наших успехов и взаимной их связи.

Достаточно того, что мы знаем результаты нашей деятельности.

Но тут возникает другой вопрос: какое направление приняла наша дальнейшая работа после того как вражеский фронт был прорван, а противник рассеян и разгромлен? В ответе на этот вопрос и заключается самое главное. Вы, конечно, уверены, что по воскресеньям храмы наши ломались от наплыва обращенных и раскаявшихся моряков, а господне стадо возросло на десяток тысяч новых членов. Однако, ничего подобного не было.

Среди моряков не оказалось никого, кто бы пожелал стать нашим последователем. Отказавшись от разгула, пьянства, улицы, публичных домов, эти юноши и мужи бросились в бездну другого бедствия и постепенно прониклись учением социалистов, синдикалистов и коммунистов. Свое свободное время они стали посвящать всевозможным собраниям, читали коммунистические газеты и литературу и насмехались над армией спасения» и даже над самим спасителем.

Мне неизвестно какими путями в сердца их проникли первые семена этих мерзопакостных учений, но результаты не заставили себя долго ждать. Сначала они выдвинули требование об улучшении питания и невмешательстве начальства в их личную жизнь, т.-е. добивались права читать вредную литературу. Затем отказались отправиться в Индию на подавление восстания и, наконец, побросали в море высших офицеров, повернули жерла пушек против дома коменданта Валетты и разгромили его в отместку за то, что комендант угрожал восставшим судом и расстрелом. Потом, — вероятно, опасаясь, что из Лондона может прибыть более сильная эскадра и, заперев вход в гавань, вынудить их к сдаче, — они в полной боевой готов-

ности, с развевающимися красными флагами уехали на восток.

Несмотря на случившееся, я все же не утратил способности подвергнуть анализу результаты моего злого дела. Во-первых, не подлежит сомнению правота морского офицера, воспретившего мне организовать проповедь спасения среди матросов эскадры. Он был умный человек, не лишавший матросов возможности пользоваться удовольствиями жизни.

Во-вторых, я убедился, что страстная проповедь слова божьего и агитация за необходимость раскаяться и заслужить царство небесное зачастую может привести к результатам, совершенно противоположным поставленной цели, ибо нам некуда направить активность обращенных. Мне пришлось быть свидетелем того, как моя благонамеренная деятельность содействовала потрясению основ существующего строя нашими противниками.

Во избежание того, чтобы случившееся не повторилось в другом месте, я в настоящее время отказался от работы в «армии спасения», стал убежденным противником борьбы с пьянством и ратую за публичные дома и кабаки не только в портовых кварталах и рабочих районах, но и на кораблях, на заводах, в церквях. Однако, даже эта деятельность не дает мне полного удовлетворения, ибо я опасаясь, что слишком поздно сделал свои выводы. Боюсь, что в скором времени у меня останется два выхода: либо удариться в социализм, либо покончить самоубийством...

— В твоём рассказе, товарищ, ты виднул проблему о положительных результатах отрицательного действия. Сейчас мы ждем от тебя рассказа об отрицательных результатах положительного действия, — проговорил старый коммунар.

— Это чревато опасными последствиями, — заметил кто-то из угла. — Что если учение социализма в результате приведет к «армии спасения».

Ответ Земрана был краток:

— Это невозможно. Так полагается только в утопическом произведении... В моих рассказах не принят в расчет экономический базис. Фантазии — это влияние тюрьмы.

А. УПИТ

ГОЛАЯ ЖИЗНЬ

Перевод с латышского
Э. С.

Андрей Упит — наиболее видный прозаик среди современных латышских писателей. За свою двадцатипятилетнюю литературную деятельность написал свыше десяти больших романов и много рассказов и повестей.

Родился в 1877 г. и ныне проживает в Латвии, занимаясь исключительно литературным трудом.

A. UPITS
«Kallä Dsihioiba»

ТОДЯР ЖНЭНН

Издательство «Лань»

1987

Андрей Упит — кандидат педагогических наук,
доцент кафедры истории и философии,
Института философии и социальных наук
Академии наук Республики Беларусь.
С 1975 г. в числе преподавателей в Белорусском
государственном университете имени Ленина.

Каштаны были в разгаре цветения. Ветер раскачивал на концах веток белые, пушисто-золотистые пирамидки метелок. Свеже-выбеленная стена с обитым зеленой жостью верхом приветливо глядела с конца аллеи. Это могло быть также оградой парка, скрывающей зеленую лужайку, с цветочными клумбами и купами кустов. Немного необычное и странное впечатление производило лишь то, что над стеной не видно было ни одной верхушки дерева. На фоне неба вырисовывался только шпиль церковной колокольни.

Еще более странным казалось то, что при приближении стена подымалась все выше и в конце-концов достигала высоты в два человеческих роста. Зеленый жестяной верх был весь утыкан острыми гвоздями. По обеим сторонам обитых черным железом сводчатых ворот стояли полосатые будки часовых.

Сжав винтовку между колен, конвоир снял свой тяжелый металлический головной убор и, достав из него бумагу, протянул часовому. Это был пожилой человек, с сухощавым лицом и серыми равнодушными глазами. Мельком пробежав содержание бумаги, он принялся старательно разглядывать печать, вертя документ между пальцами и по складам разбирая название учреж-

дения. Другой помоложе тем временем отпирал ворота. Ключ звонко загремел в скважине.

В широких воротах открылась лишь небольшая дверца. Она была тяжелая и массивная, точно дверь железного нескораемого шкафа, в котром хранятся не-
сметные ценности.

Адриан вошел первый, кивнув, словно в благодар-
ность, отпиравшему головой. С мелькнувшей в глазах
мгновенной усмешкой тот захлопнул дверь за конвои-
ром и снова запер ее. Ключ пропел звонко и гулко.

Никакого парка за стеной не оказалось. Был только
проход шириною в десять шагов, с деревянным забором.
Последний был ниже стены, но утыкан такими же
острыми гвоздями. Стоявший у калитки сторож, даже
не заглянув в бумагу, сразу открыл и пропустил, не
произнося ни слова.

Адриан шел впереди. Следовавший за ним конвоир
указывал дорогу, слегка подталкивая его прикладом
винтовки. Миновав трехэтажное здание с цветами
в горшках на окнах, с которых там и сям свисало вы-
вешенное для просушки белье, они прошли мимо кро-
шечного, словно приникшего к земле домика с неглу-
бокими амбразурами вместо окон и очутились на
обширном, вымощенном камнем дворе. Две фигуры,
облеченные в полосатые костюмы и в серые колпаки
без козырьков, сидя на корточках, выковыривали траву
из щелей. Возле них, опираясь на винтовку, стоял
часовой.

Старинная, выстроенная в тринадцатом веке кре-
пость широко разлеглась на краю оврага. На шпилях
круглых башен по обе стороны развевались государ-
ственные флаги. Адриан вспомнил, что сегодня день
рождения короля и в городе тоже все здания украшены
флагами. Но больше всего его интересовал ряд проде-

ланных в скалистой стене и забранных решетками оконцев, тянувшихся на высоте метра над поверхностью двора. Там, повидимому, были камеры тюрьмы. Он старался угадать, в которую из них поместят его и из какого оконца придется ему смотреть на двор.

Они стояли перед пристройкой недавнего происхождения. Железные решетчатые ворота отворились с грохотом. По узкому коридору и боковым проходам расхаживали опоясанные револьверами надзиратели. Все они удостоивали вновь прибывшего лишь мимолетным взглядом. Только исполин с бритым, изуродованным оспой лицом остановился и, оперев руки в бока, принялся рассматривать пленника с нескрываемым злорадством.

— Ага, попался-таки, голубчик. Теперь ты сидишь крепко.

Адриан растерялся. Ведь этому человеку он ничего не сделал, даже не помнил, чтобы видел его когда-нибудь. Оглянулся на решетчатые ворота, — действительно, он сидел здесь крепко. И вдруг вся тяжесть тела придавила ему грудь.

Конвоир стал злым и грубым. Оскорбительно кричал на него, хотя он шел послушно и, казалось бы, исполнял беспрекословно все, что от него требовалось. Миновав еще двое таких же решетчатых ворот, они очутились в коридоре против выкрашенной в желтый цвет двери, над которой красовалась надпись: «Контора». Конвоир стоял рядом с ним, вытянувшись, словно перед начальством, приставив винтовку к ноге и держа в руке бумагу. Электрическая лампочка в проволочной сетке горела прямо над головой.

С другого конца коридора со странным шумом приближалась группа людей. Среди них, повидимому, была пьяная проститутка. Держа подмышкой узел

с подушкой и одеялом, женщина хохотала, мотая головой. За посиневшими губами поблескивали крупные белые зубы. Обутые в истоптанные ботинки ноги как бы в такт музыке оттопывали по асфальтовому полу. Хохотали также двое сопровождавших ее мужчин, слегка удерживавших ее за руки. Перегнувшись немного назад, она запрокинула голову на плечо одного из них, как будто это был ее кавалер на танцевальном вечере. Проходя мимо, метнула в глаза Адрина такой веселый и легкомысленный взгляд, что тот забыл где находится и ответил ей улыбкой. Но это, вероятно, противоречило правилам, так как спутники женщины, мгновенно разозлившись, резко встряхнули ее и поставили прямо.

Адриан простоял так полчаса. Затем его ввели в контору, записали и сдали какому-то юнцу, с которым он прошел в обширное, погруженное в полумрак помещение. Там орудовал горбатый человек с неестественно длинными руками, немного напоминавший обезьяну; раздев старого еврея, он перетряхивал его платье. Адриана эта операция ошеломила. Присев на невысокую табуретку, горбун разостлал на коленях лапсердак и другие принадлежности костюма еврея и отвратительными длинными пальцами ощупывал каждую складку два раза вверх и два раза вниз. Вывернув наружу карманы с накопившейся в них с незапамятных времен пылью, он выскребал из них грязь ногтем. Он шарил под рваной подкладкой, извлекая черные комья свалывшейся шерсти. Работал без торопливости и с видимым удовольствием. Иногда опускал вдоль тела свешивавшиеся до полу руки, с задумчивым видом рассматривал лежавшее на коленях тряпье и самого обыскиваемого. Тот стоял в одной рубашке и заношенных кальсонах, перевязанных над щиколотками

красными тряпками. Омерзительно изможденное тело сотрясалось мелкой дрожью, хотя в помещении стояла душлимая жара. Чувствовалась близость уборной. Извлеченные из карманов предметы лежали тут же на столе. Табакерка для нюхательного табаку, карманный нож с оторванной одной половинкой черенка, поясной ремень, носовой платок, измочаленный кусок бечевки, сбрывок черной атласной ленты.

Вдруг горбун встрепенулся. Отвернувшийся на мгновение Адриан снова перевел взгляд на него. Тот держал между пальцев извлеченную из-под подкладки шапки тщательно сложенную американскую десяти-долларовую бумажку. Лицо и вся фигура его дышала сладостным удовлетворением. Он сидел с запрокинутой назад головой, сведенным судорогой беззвучного смеха лицом и полуприкрытыми глазами, в узеньких щелках которых переливались зеленые огоньки.

Плавнo помахав в воздухе развернутой бумажкой, он спросил:

— Это что — для подкупа надзирателей?

Еврей принялся плакать.

— Нет, господин, вовсе нет. Когда я приехал и остался ночевать на вокзале... чтобы не вытащили из кармана...

Горбун собрал в охапку одежду и сложенные на столе предметы и оба вышли. Пряжка поясного ремня волочилась по земле и, понемногу удаляясь, долго звенела где-то в коридоре.

Некоторое время Адриан оставался один. Они, по-видимому, не особенно торопились. В забранное решеткой окошко была видна только серая стена на расстоянии метра. Он оглянулся, стараясь установить, откуда несетя невыносимая вонь. Но голубоватые стены помещения были совершенно гладкие, сообща

ему вид наглухо запертого ящика. В коридоре гулко разносились шаги и гремели приклады винтовок. Непрерывно раздавался то близкий, то отдаленный грохот открываемых и закрываемых решетчатых дверей, скрежет тяжелых засовов и яростные крики команды. Мимо двери кто-то прошел с громким плачем, — не еврей, так как голос был женский.

Вернулся горбун, и Адриану пришлось раздеться. Снова началась отвратительная процедура. В карманах сказались только коробка спичек и две сломанные сигаретки да неизвестно когда провалившийся за подкладку огрызок карандаша. Горбун извлек даже воткнутую в ворот блузы булавку. Тщательно исследовав башмаки, попытался даже отодрать подошву. Адриан испытывал нестерпимое омерзение, когда длинные пальцы принялись обшаривать его полуголое тело. Ему было стыдно большой дыры в синей ситцевой рубашке. Рубашку он разорвал ночью третьего дня, когда жандармы гонялись за ним по набережной порта.

Затем его одели в полосатый костюм и сдали опоясанному револьвером надзирателю. Поднявшись по узкой цементной лестнице, они прошли двое решетчатых ворот и свернули в ярко освещенный боковой коридор, по обе стороны которого тянулись амбразуры дверей. Там к ним подошел другой надзиратель с ключем в руке. Сопровождающий отрывисто бросил:

— В сто двадцатую...

Снова отворилась такая же дверца железного несгораемого шкафа, как давеча в воротах. Адриана втокнули в камеру.

Это было узкое помещение с довольно высоким потолком. После ярко освещенных коридоров в нем казалось темно.

В полумраке камера как бы сузилась еще больше, и Адриан был уверен, что раскинутыми в стороны руками он в состоянии одновременно коснуться обеих противоположных стен. Глаза его инстинктивно обратились к окошку в амбразуре толстой стены с тройным рядом перекрещивающихся прутьев решетки. Оттуда доносилось свежее дуновение ветра. Придвинувшись ближе, Адриан увидел где-то далеко внизу зеркальную поверхность моря и мгновенно понял положение. Это было одно из оконцев, тянувшихся тремя рядами в стене старинной крепости высоко над обрывом. Не раз, прогуливаясь далеко внизу среди насаждений по ту сторону пересохшего канала, смотрел он вверх, пытаясь разглядеть в черных щелях человеческое лицо или фигуру. Вопрос о том, в каком ряду находится его окошко, казался ему почему-то чрезвычайно важным, однако, решить его он не мог. Из окна открывался лишь вид на морской залив с двумя голубыми скалистыми островками. Дальше, около самой линии горизонта, вырисовывался третий, напоминая рыбу с торчащими плавниками. Снизу его совершенно не было видно. На некотором расстоянии вилась кверху струя черного дыма. Адриан понял: это дымил какой-нибудь из стоявших в порту пароходов. Столь знакомый ему портовый гул едва доносился сюда. Слух улавливал лишь слабое жужжание, сопровождаемое ритмичными мелкими ударами, — это, повидимому, работали грузоподъемные краны. Откуда-то доносился медлительный звон башенных часов. Где-то визгливо заливался охрипший свисток. Все эти звуки проникали к нему словно сквозь толстую войлочную завесу.

Вдруг Адриан отскочил от окна и тяжело ударился о боковую стену. Под самыми его ногами раздался ка-

кой-то шорох. Только тут он сообразил, что в камере находится еще другой заключенный.

Около противоположной стены на полу валялась соломенная подстилка. Сцепив руки под затылком и растянувшись во весь рост, на ней лежал человек в одной нижней рубашке. Сначала Адриан видел только его голову. С дико взъерошенной черной шапкой волос и всклокоченной бородой она напоминала не голову человека, а скорее лесного зверя. Только в темных глазах светилась теплота. Адриан поднял руку, чтобы снять шапку и поздороваться, но своевременно спохватился, что на голове у него странный убор, с которым он еще не научился обращаться.

В глазах лежащего промелькнула улыбка.

— В окно смотришь! Это хорошо! Хоть и мало видно, но достаточно для того, чтобы знать, что земля круглая и море продолжает синеть, несмотря на твое отсутствие. Хорошо сознавать это, — таким образом можно долго выдержать... Ну, ложись, что ли, — устал, вероятно. Я знаю, как они любят гонять человека от Понтия к Пилату, как будто затрудняясь в выборе достойного места для водворения его.

Он усмехнулся. Смех его отличался неприятной резкостью, как и голос, что совершенно не вязалось с ласковым выражением глаз.

Адриан оглянулся и увидел около другой стены тоже брошенную на пол солому. Сосед уделил ему еще часть своей. Адриан уселся и лишь тогда почувствовал, что на самом деле сильно устал. С самого утра начали его водить и только в префектуре дали кружку теплой воды и кусок хлеба.

Сосед повернулся на-бок и стал испытующе разглядывать его.

— Как тебя звать и каким образом попался?

Адриан назвал себя и прибавил:

— Разбрасывал прокламации на портовой набережной.

— Т-с-сс!... О таких вещах не вопят, как козьи пастихи в горах. Удивляюсь, как это тебя, такого дурака, не посадили к какому-нибудь шпику. Ты бы сразу болтал ему все.

— Мне нечего скрывать. Работаю на химическом заводе. Дали поручение вести агитацию в портовом районе. Жандармы захватили меня с прокламациями в руке.

— И ты сознался, что собирался разбрасывать их? Ох, дурак же ты набитый! Сколько тебе лет?

Адриану шел семнадцатый.

— По уму и одиннадцати-то нет. Ты должен был заявить, что понятия не имеешь, каким образом они очутились у тебя в кармане. Шатался, дескать, по базару, прошел мимо церкви, завернул в кабак, — верно кто-нибудь там изловчился засунуть в карман. И в конце-концов они сами могли засунуть: один, мол, держал за руки, а другой тем временем орудовал.

Адриан возмутился.

— Это отвратительно! Я не могу ложно показывать ни на жандармов, ни на тех у церкви.

— Потому что ты еще слишком молод и зелен! Ты думаешь, что они не будут ложно показывать против тебя. В таком случае ты их не знаешь. Ручаюсь, что они станут доказывать, будто ты состоишь в центральном комитете антимиитаристов, работаешь на деньги врагов и предаешь свое отечество.

Адриан с изумлением наклонился ближе к нему.

— Откуда вам это известно? Ведь они на самом деле предъявляли мне все эти обвинения. Даже больше того,

Сосед только кивнул головой.

— Твоя же задача была самая несложная, не правда ли. Точно также как и твои личные планы.

Глаза Адриана засверкали и руки судорожно обхватили колени.

— Отец мой и старший брат пали в одном бою и в один и тот же день. Я не желаю быть призванным. Старуха-мать лежит без движения, разбитая параличом. Сестренка должна еще окончить школу. Я не желаю воевать. Я не желаю пасть в бою. Я не могу стрелять в неприятельского солдата, который вовсе не враг мне, а такой же рабочий, как и я. Я не желаю войны. Долой войну!

— Все это ты им, разумеется, высказал?

— Конечно! Впрочем, то же самое они могли узнать из моих прокламаций. Для этого я их и разбрасывал. Нам нужно было убедить штрейкбрехеров и грузчиков военного транспорта, чтобы бастовал весь порт — сталелитейщики, вагонный завод, трамвай, служащие ресторанов, парикмахеры, церковные звонари.

— Одних этих соответствующих действительности фактов достаточно, чтобы надеть тебе петлю на шею, как предателю родины. Но в их распоряжении еще имеются жандармы, карабинеры, тюрьма и судебный следователь, — налаженный в течение столетий и прекрасно действующий аппарат, размалывающий в порошок всякого отщепенца и еретика. И после этого ты суешься с твоей истиной. Что в состоянии ты противопоставить их силе? Одну твою голую жизнь — больше ничего!

Адриан смотрел расширившимися глазами. Он подыскивал слова, но они не складывались логической цепью, а подобно гладким и скользким камешкам по-

одиночке соскальзывали в пустоту, оставляя за собой неприятный холодающий след.

— Голую жизнь — это так. Но разве ты борешься за что-нибудь другое? Разве, кроме нее, вообще существуют какие-либо другие ценности? — продолжал сосед. — Ты сомневаешься? Мне ты можешь верить. Я в три раза старше тебя, но пережил и почувствовал в тридцать раз больше. На пятьдесят—шестьдесят километров дальше от своего родного города ты никогда не уходил. Я же из пяти частей света не побывал только в Австралии. И всюду и всегда видел одно и то же: борьбу за голую жизнь. На поле сражения, в мирном городе, в тюрьме — всюду она.

— Вы давно находитесь в тюрьме?

— Начиная с того года, когда ты родился.

Адриан наклонился так, что коленками коснулся пола. Глаза его вылезали из орбит. Несомненно, он ослышался. Сосед снова растянулся на спине и сцепил руки под затылком.

— Семнадцать лет!... В чем вы обвиняетесь?

Тот усмехнулся.

— Всего не припомнить. В организации покушения на испанского престолонаследника. В участии в заговоре против австрийского эрцгерцога. В нарушении швейцарской федеральной конституции. В агитации против английских интересов в Индии. В организации негритянского восстания в колонии бельгийского короля — Конго. Во взрыве транспорта с боевыми припасами в Марселе. В повреждении американского трансатлантического телеграфного кабеля... Как видишь, отчасти также за то, за что и тебя сюда посадили. Я уверен, что, переведя меня из одной тюрьмы в другую, они вынуждены возить за мной не менее полвагона обвинительного материала. Из Бельфаста

в Тулон, из Триеста в Белград, Бостон, Токио, Аден, Палермо... куда только ему ни приходилось путешествовать со мной. И только потому, что у меня не было ни малейшего желания расставаться с жизнью у стены первой крепости, да еще потому, что им это тоже не представлялось особенно выгодным. Хороший тон современной цивилизации требует, чтобы уничтожение нежелательного существа было оправдано полным реестром совершенных им преступлений. Я постарался доставить обильный материал коллекционерам уголовных проступков.

Он тихонько рассмеялся.

— Я вижу, что вы — несчастный человек.

— Ты хочешь сказать: более несчастный, чем ты. Это мы еще посмотрим. Счастье и несчастье — понятия крайне относительные, и в молодости я написал по этому вопросу целый философский трактат. Но философия здесь самая несложная. Все зависит от того, предоставляешь ли ты уничтожить тебя постепенно, или обращаешь твои жизненные инстинкты, подобно острому ножу, против их шелковой петли. Миг ясного сознания и отчетливого переживания является более ценным, нежели долгие годы приниженной, неодоухотворенной и вялой жизни.

— Вы полагаете, что меня долго продержат здесь?

Сосед ответил лишь после некоторого молчания сдержанно и словно нехотя:

— Как тебе сказать, приятель... Это зависит от них и от тебя. Военное положение устанавливает определенные сроки для всех, за исключением тех, что вводят его. Если ты выдал своих товарищей или вообще рассказал что-нибудь более или менее интересное для них, то можешь рассчитывать на некоторое снисхождение.

Юноша отмахнулся обеими руками.

— Нет, нет, нет! Какого вы мнения обо мне. Я не предатель!

Сосед только кивнул головой.

— Это я знаю. Еслиб они собирались тебя убить, то ты сидел бы на той стороне, где окна низкие и часовому со двора легко пустить тебе пулю в лоб при малейшем нарушении тюремных правил. Это наиболее простой способ избавляться от членов профессиональных союзов и подростков, уничтожение которых по приговору суда может вызвать нежелательный шум. Но так как ты находишься здесь, они замышляют нечто другое. Возможно, что тебе сделают предложение поступить на службу в военную сыскную полицию. Возможно, что последние бои потребовали много жертв и они нуждаются в добровольцах. В конце-концов нет ничего невозможного в том, что они намерены изолировать тебя от внешнего мира до окончания войны и еще дольше.

Адриану было трудно следить за мыслью интеллигента. Он употреблял множество туманных, лишних и даже просто непонятных слов. Адриан слушал, кивал головой и делал вид, что понимает. На самом же деле он слышал далеко не все и думал о своем. В глубине существа его звенели еще отклики портового труда и грохота, по жилам струился соленый ветер равнины и в глазах переливалась легкая голубизна моря.

— Вчера утром сестренка ходила за рыбой к старому монастырю. У нас дома было еще немного сала. Она умеет готовить вкусный пуддинг из рыбы...

Черные глаза за длинными ресницами нервно заморгали. Голос звучал резко и недружелюбно.

— Пуддинг из рыбы был и будет впредь. Сейчас ты должен думать о том, что завтра или послезавтра тебя

снова поведут к судебному следователю. Не попадайся в ловушку. Ты еще только начал жить. Тебе нужно жить, — думай об этом. Это важная, это самая важная мысль. Не будь этой мысли, ты мог бы считаться мертвецом. А теперь ложись спать. Отдыхай! Солнце только-что скрылось за подоконником. До вечерней похлебки еще три часа.

Слух Адриана произвольно выхватил из этой тирады лишь одну часть, которая своеобразно перепуталась с тем, что он слышал за минуту назад, но не сумел осмыслить. Завтра или послезавтра... До окончания войны... Семнадцать лет... Как бессовестно подшучивает этот сосед над ним.

Мать у меня разбита параличом... Сестренка должна еще окончить школу...

Свинцово-серая бледность внезапно разлилась по его загорелому лицу. Ухватившись обеими руками за подоконник, он склонился всем телом к окошку в углублении, откуда сквозь железный переплет решеток доносился приятный прохладный морской ветер. Полные отчаяния и тоски, умоляющие глаза обратились к соседу, как будто тот был в состоянии помочь чем-нибудь.

Сосед повертел лохматой головой. В голосе его звенели резкие и недовольные нотки.

— Ложись и спи, говорят тебе! И не думай о пустяках. Позабудь все там — на воле, пока не настанет удобный момент. Я дожидаюсь его уже семнадцать лет. Но приходилось мне видеть и таких, которые не могли ожидать. В нижних коридорах часто можно слышать, как гремят кандалы в подвалах. Это сошедшие с ума, но им не верят. Через некоторое время их заколачивают в досчатые гробы и в сопровождении десятка жандармов отправляют за ворота. Лишь после

того как испепеляются последние остатки костей в крематории они начинают верить, что обрели долгожданный покой. Жизнь — опасная штука. Даже угасшая жизнь продолжает теплиться где-то вне времени и пространства.

Адриан уже лежал на своей соломенной подстилке у стены. Сосед рассказывал о том, как граф Монте-Кристо совершил побег из крепости Иф, а Генрих Корроранти — из венецианской тюрьмы. По данным международной уголовной статистики, ежегодно совершают побег около восьми процентов всех заключенных.

Дурак тот, кто не постарается попасть в число этих восьми процентов. Человек, попавший в тюрьму в семнадцатилетнем возрасте, имеет в своем распоряжении сотни возможностей. Не нужно лишь падать духом и давать ослабеть жизненному инстинкту. Не допускать того, что желательно им. Пусть еще яростнее бурлит кровь в жилах — на зло всем, кто желает, чтобы она остановилась...

Но Адриану не было до этого никакого дела. Он спал глубоким сном, жадно вдыхая соленое дуновение моря, прилетавшее из забранного решетками углубления окна.

Когда луна оказалась прямо против окна, черноволосый приподнялся и сел, подперев голову ладонями. В тусклом лунном свете было видно лицо юноши, озаренное тихой улыбкой. Время-от-времени он выпускал сонный вздох.

Голова заключенного склонилась вперед с глубокой печалью. Затем зашуршала солома, и в камере наступила тишина. Две летучие мыши, гоняясь друг за другом, всплескивали голыми крыльями за железным переплетом решеток.

На следующее утро Адриана повели к судебному следователю. Ему казалось, что тот умышленно устроился на противоположной окраине города, где начинались пшеничные поля и оливковые рощи. С каждой стороны по карабинеру с заряженной и готовой для стрельбы винтовкой подмышкой. Сзади третий — с вытертой разносной книгой в левой и револьвером в правой руке. Через весь город... Сначала было довольно неприятно. Буржуа с тротуаров бросали на него косые взгляды, радуясь мужественной осанке конвоиров и пришибленному виду тщедушного преступника. Тот шел, втянул голову в плечи, сторбленный и неловкий. Но потом им овладела усталость и все стало безразлично. Старые башмаки пропускали сырость, и промокшие ноги неприятно ныли. В коридоре у судебного следователя пришлось просидеть на скамейке полтора часа. Проходящие мимо шархались от преступника, окруженного тремя конвоирами, стоявшими с таким видом, словно они каждую минуту ожидали покушения. Следователь вначале был любезен, но затем стал хмуриться все больше и больше, когда Адриан заупрямился и начал отрицать даже то, в чем чистосердечно сознался в уголовной полиции. Колотил кулаком по столу и грозился сгноить Адриана в тюрьме. Испытывая чувство некоторого сострадания к несчастному чиновнику, служебное положение которого и повышение жалования зависели, повидимому, от результатов данного следствия, Адриан все же избрал тактику упрямого отрицания. Кое-что из разговора с черноволосым товарищем по камере сохранилось у него в памяти.

Обратно Адриана вели уже по другим улицам. После трехчасового допроса он совершенно ошалел и, только пройдя больше половины дороги, стал

соображать, что с ним происходит. Склонившаяся над забором ветка каштана бросила в его лицо холодными капельками воды. Когда он поднял голову, вся улица до поворота была окутана сплошной пеленой серого тумана. Коренастый старый моряк, выйдя на крыльцо своего домика, набивал трубку и смачно сплевывал на камни мостовой. Адриану показалось, что плевки предназначены ему, и он инстинктивно выдернул руки из карманов брюк, но чувствительный удар рукояткой револьвера по спине заставил его соразмерить свои шаги с шагами конвоиров и идти спокойней. В это мгновение внимание его привлекла миловидная молодая женщина, которая, высунувшись из окна, вытряхивала одеяло. Он сделал попытку улыбнуться, но когда женщина с брезгливой гримасой отвернулась, окончательно замкнулся в себя и дошел до ворот крепости, ни разу не оглянувшись.

Загребел ключ. Адриан вздрогнул и крепче уперся ногами в асфальт. Опять туда. А дома у него разбитая параличом мать... сестренка только-что приготовила пуддинг из рыбы... Он пришел в себя лишь после того как, споткнувшись, едва удержался на ногах по ту сторону белой ограды, обитой зеленою жестью. Двое конвоиров замахнулись прикладами винтовок. Третий стоял с искаженным от бешенства лицом, стискивая в руке револьвер и словно изготовившись для прыжка.

— Жаба окаянная! Спротивляться хочешь, бежать! Вот разнесу тебе череп без разговоров!

Гнусная ругань секла Адриана. Он совершенно растерялся и не был в состоянии промолвить ни слова. Спротивляться... бежать... Разве он думал об этом... Опустив голову, словно в ожидании удара, тащился он по коридору. Его осыпали непрекращавшейся руганью.

Ругались не только конвоиры, но все попадавшие по дороге. Окруженный искаженными яростью лицами и стиснутыми кулаками, он едва был в состоянии передвигать ноги. «На месте следовало пристрелить его, как собаку»... — кричали они. И он в самом деле чувствовал себя, как собака, очутившаяся в толпе чужих людей, которые жестокими пинками гоняют ее из стороны в сторону.

В конторе грязный человек в мундире прочитал ему целую лекцию о тюремной дисциплине. Растерявшись, он машинально схватился руками за угол блузы, но их грубо выпрямили и бросили вдоль тела. Сильный удар кулаком по затылку заставил его выпрямить и спину. Затем его повели дальше и втолкнули в темное помещение, напоминавшее каменный шкаф. Он сидел на сыром полу и не мог даже вытянуть ноги, — так тесно было там. Тяжелый запах плесени захватывал дыхание. Время-от-времени сверху на голову или руки падала скользкая и отвратительная капля.

Адриан сидел ошеломленный. В мыслях и чувствах его царил полнейший хаос. Когда он несколько успокоился, мозг его стала сверлить, подобно стертому бураву, неотвязная мысль. За что здесь издевались над ним, мучили его. Разве он не был таким же человеком, как и те, что мучили его. Разве закон и справедливость не распространялись одинаково на всех... И вдруг острая боль и пламенная ярость горячей волной залили все его существо. Он вскочил на ноги и принялся шарить вдоль стен. Но они были ровные и скользкие, одинаковые со всех четырех сторон, — даже дверь ему не удалось нащарить. Он стал колотить кулаками по стене и кричать, чтобы его выпустили, что он здесь задохнется. Ни малейшим звуком не откликнулась стена на его призыв.

Измученный, он снова опустился на пол и тогда, прижавшись головой к стене, услышал какой-то отдаленный шум. Он рождался далеко-далеко, быть может за морем и горизонтом. Как будто звенело что-то, как будто хохотал кто-то, протяжно и истерически, как будто завывал... Может быть, то были умалишенные в подвалах, про которых накануне рассказывал товарищ по камере.

Адриан зажал уши пальцами. Он был не в состоянии слушать, как хохочут и завывают эти заживо погребенные. Но разве положение его самого было другим? Разве он не был заколочен в каменный гроб и зарыт в землю? Может быть, те, снаружи, приложив ухо к стене, прислушиваются теперь, не перестал ли он дышать. Только этого они хотят и ожидают. Потом в сопровождении десятка жандармов — за ворота, по цветущей каштановой аллее в крематорий... Адриан вздрогнул, словно схваченный костлявой рукой. Нет! — вырвался крик откуда-то из глубин сознания. Все его человеческое существо взметнулось в дикой и слепой воле к борьбе. Он был еще так молод и жил так мало. На воле цвели каштановые деревья, море отливало голубым и острова плавали, как рыбы с торчащими плавниками... Слова товарища по камере громко и отчетливо воскресали в памяти. Товарищ был прав. Он не сдастся. Не отдаст он свою голую жизнь...

После длившихся целую вечность двадцати четырех часов его выпустили из каменного гроба и вывели на двор на прогулку. Усиленно моргая глазами от слепящего солнечного блеска и шатаясь, он старался держаться установленных правил — двигаться на расстоянии пяти шагов от шедшего впереди его заключенного и на таком же расстоянии от шедшего сзади. Все семь человек в полосатых костюмах и серых колпаках,

в шлепающих о голые пятки туфлях шагали по усыпанной шлаком дорожке вокруг лужайки. Стоявший посреди лужайки надзиратель, не сводя глаз, кричал на заключенных, которые уходили вперед или отставали, и принимался злобно ругаться, когда делались попытки вступить в разговор. Вдоль ограды и стены тюремного корпуса расхаживали с винтовками в руках другие, стараясь поймать кого-нибудь из заключенных на вызывающей неосторожности.

Адриан понял, чего они ждут и улыбнулся про себя. Не смогли заставить его задохнуться и рассчитывают теперь с помощью пули погасить пламя его жизни. Глупцом считают его. Он находил, что способы поддаться провокации — сделать попытку к побегу те, что прозябают здесь семнадцать лет, но не он, которого все равно придется выпустить, если не сегодня, так завтра. Семнадцать лет... В этих двух словах заключалось нечто столь великое, чего не в состоянии был охватить его мозг, столь жуткое, что сознание избегало сталкиваться с ним. Или нет, — не было решительно ничего и не могло быть, — только пустые слова...

Он рассмотрел остальных заключенных. Шли они гуськом, шлепая своими туфлями. Это было презабавное шествие. Адриан не понимал, почему не хохочут надзиратель посреди лужайки и те, другие, вдоль ограды. Семеро полосатых животных, отличающихся друг от друга лишь нашитым на грудь номером. Лица у все одинакового серого цвета и походка одинаковая. Он бросил взгляд на свои руки. Они сохранили свой коричневый цвет от портовой угольной пыли и морского ветра. Нет, — он не даст им побелеть. Он не животное. Он ощущал свою жизнь и сохранит ее. На нем лежала обязанность заботиться о матери и сестре.

Выглядывавший откуда-то из-за крыши кипарис привлек его внимание, вызвав в памяти картины недавнего прошлого. Целая вереница бесконечной чередой—зеленые, расцветающие белым и красным, звенящие, залитые солнечным сиянием — проносились они перед его глазами... У него перехватило дыхание, он закрыл глаза и машинально двинулся по усыпанной шлаком дорожке.

После прогулки его отвели в просторную, полутемную камеру, за окошком которой вздымалась позеленевшая от плесени и обомшелая стена. В этой камере стоял стол с двумя табуретками. На одной из них сидел пожилой человек в неизменном полосатом костюме и курил сигаретку. Когда вошел Адриан, он предложил закурить и ему. Человек был приветлив и общителен. Оказалось, что он тоже посажен за антимилицаристскую пропаганду. Проявлял живейший интерес к последним успехам общего дела, расспрашивал про наиболее активных работников. Особенно его занимал вопрос о том, ведется ли в данное время какая-либо работа в армии и в каких частях пропаганда имеет успех. Адриану он мог быть полезным во многих отношениях, так как являлся старым обитателем тюрьмы и был в хороших отношениях с надзирателем, охотно оказывавшим услуги товарищам. Бумагу и карандаш тоже можно в конце-концов раздобыть, если Адриан хочет написать родным или организации. У каждого попадающего в тюрьму есть что сообщить на волю. Плохо припрятанный запас литературы, предостережение товарищу, привет возлюбленной в конце-концов.

Сначала Адриан совсем обмяк как от прекрасной сигаретки, так и от приветливой словоохотливости и сочувствия соседа. Но затем кое-какие мелочи воз-

будили в нем подозрения. Товарищ бросал на него время-от-времени исподлобья быстрый взгляд, слушал, наклоняя ухо ближе к нему, беспокойно, словно лаская, катал между пальцами сигаретку. Нечто подобное он уже заметил у судебного следователя... Внезапно им овладело чувство непреодолимого отвращения. Швырнув сигаретку в угол, он повернулся к соседу спиной. Сидел без движения, уставившись в покрытую плесенью стену за окошком.

Насилием и грубым принуждением действовали находившиеся вне камеры враги его, тогда как этот стремился заполучить в свои лапы его жизнь с помощью сигаретки и лицемерного притворства. Как хорошо, что он сначала встретился с долгосрочным узником в сто двадцатой камере. Он, несомненно, сунул бы по глупости сам голову в петлю, да еще погубил бы товарищей и родных...

Больную мать и сестренку... Чем они провинились. В сердце Адриана вскипел неудержимый гнев. Как неизменно, как необъяснимо много злобы и подлости на свете! Между тем тот, по другую сторону стола, не собирался прекращать потока своей речи. Подобно комьям ваты, мягко касаясь слуха, скользили его слова мимо ушей. Камера наполнилась голубым дымом от его сигаретки. Когда Адриан под вечер повернулся лицом к соседу, тот сидел на краю стола, напоминая громадного серого паука.

Целый день и две ночи изводил он Адриана, но безуспешно. Затем его выпустили. Несколько часов спустя Адриана перевели в триста восемьдесят первую камеру.

Новое обиталище его было расположено, несомненно, где-то очень высоко, так как он поднялся по шести пролетам лестницы и миновал три коридора

с углублениями дверей по обеим сторонам. Камера была погружена почти в совершенную темноту, — оконце находилось под самым потолком.

В голове Адриана все еще стоял сумбур от того, внизу. Однако, молодые и ясные глаза его сразу установили, что и здесь он не один. Другой сидел у стены, обхватив колена руками, как индийский факир, и опершись на них подбородком. Распознать в нем человеческое существо было довольно трудно, — скорее он напоминал обезьяну. В действительности же это были лишь жалкие остатки существовавшего некогда человека. Руки и ноги его представляли собою обтянутые сморщенной кожей кости, покрытые серым пухом, щеки глубоко провалились, такие же серые волосы свисали прямыми прядями над громадными звериными ушами. Только лихорадочно блестящие глаза в почерневших углублениях свидетельствовали, что жизнь все еще продолжает теплиться в этом иссохшем теле.

При входе Адриана он не пошевелился. Глаза его были обращены прямо на пришельца, но у Адриана сложилось впечатление, что они смотрят сквозь него куда-то дальше. Затем тонкие, прозрачные губы приоткрылись и послышался совершенно охрипший голос, словно шелест тяжелого ветра в дупле гниющего дерева.

— Не заслоняй от меня свет, я не вижу...

— Что ему нужно здесь видеть... Скелет некоторое время тяжело дышал, словно возился с непосильными тяжестями.

Адриан уселся в углу и стал наблюдать. Тот продолжал смотреть попрежнему. Очевидно, у него был какой-то объект для созерцания, а новый пришелец его несколько не интересовал. Иногда его сцепленные на коленях руки судорожно напрягались и рот начинал

шевелиться, словно лова воздух. Но воздуха в помещении было достаточно. В открытое окошко явственно проникало дуновение свежего ветра. Почерневшая от пыли паутина, свисавшая с потолка, плавно покачивалась.

Адриан не в силах был вынести безмолвие камеры с этим серым скелетом у стены. Поэтому он заговорил, принялся рассказывать о себе, чтобы коренной обитатель этого помещения и его хозяин знал, с кем имеет дело. Но тот, казалось, не обращал на его слова ни малейшего внимания. Подождав некоторое время в молчании, Адриан спросил:

— В чем вас обвиняют и как долго вы находитесь здесь?

Прозрачные губы на этот раз зашевелились:

— Будто я отравил свою жену. Но я ее не отравил. Она сама по ошибке выпила бокал вина, предназначенный ее любовником для меня.

Адриана крайне удивило то, что тот не смог доказать свою невиновность. Но ответа он не получил. Скелет продолжал созерцать избранную им точку и что-то шептал ей.

— Даже зная все, я бы осушил этот бокал до дна. Смерть через два или три часа — это лучше, чем агония в течение двух с половиной лет.

— Двух с половиной лет... Разве вы уже осуждены. Но осужденных ведь ссылают на серные рудники и мрамороломни. Эта тюрьма только для подсудимых.

Скелет начал проявлять признаки внимания.

— Все мы осужденные, кого осудили жизнь и судьба. В бокале вина была заключена моя судьба,— почему случилось так, что бокалы перепутали неведомым мне образом. Краткое и достойное завершение потерянной, лишенной внутреннего содержания жизни.

Нет ничего более жестокого, как мешать освободиться от того, что человеком потеряно.

У Адриана по спине побежали мурашки от шопота и слов скелета.

— Почему вы смотрите на вещи так мрачно? Ваше дело пересмотрят и вам вынесут оправдательный приговор. Ведь не может быть, чтобы невиновного осудили или дали ему умереть в тюрьме. Меня тоже водят к судебному следователю, подсылают ко мне шпики. Однако, я не сознаюсь. Они должны меня выпустить. У меня больная мать и маленькая сестренка...

Сосед опять долго ловил ртом воздух.

— Я не отвечаю им. Как будто я не знаю, что им ст меня нужно. Всякий, кто попадает сюда, виноват в их глазах. И разве я не совершил преступления, находясь еще на воле. Почему я не ушел сам, когда заметил, что стал ей противен. Разве я не самый доподлинный убийца! Я заслужил смерть и ожидаю ее. Они же знают, что смерть равносильна помилованию для таких, как я. Поэтому они оттягивают. Для того они и приставлены к нам, чтобы не дать жизни улететь, как птице в небесной лазури. По жилке они вытягивают у нас жизнь, чтобы тем отчетливее почувствовать всю сладость собственного существования. Мы же находимся здесь для того, чтобы изойти капля по капле, как зажженная с обоих концов свеча...

Он повернул голову и кивнул в сторону дверей. Круглый глазок в них бесшумно захлопнулся в тот же момент.

— Подглядывают... Являются через каждые десять минут и подглядывают. Они знают, о чем я думаю, и знают, что в конце-концов я все же добьюсь своего. Посмотри на эти рубцы на моих руках. Я отточил об пол край жестяной чашки и перерезал себе вены на

руках. Это была удачная операция. Они нашли меня лежащим без сознания и сделали перевязку. Проклятые! Они не могут допустить, чтобы я сам взял то, чего им хочется. В следующий раз я разорвал на полосы рубаху и прикрепил петлю к решетке окна, — это было в камере, где окна выходят на двор. Там легко достать до решетки. Но рубаха оказалась настолько гнилой, что не была в состоянии выдержать тяжести даже моих костей. Когда меня заперли в этот каменный гроб, я попытался уморить себя голодом. Но они стали насильно наливать мне пищу в рот... Я не могу, я никак не могу. Я настолько слаб, что даже бежать не в состоянии. Жандарм придавливает меня ладонями к земле, как малое дитя, — ему даже не приходится прибегать к шашке или револьверу... Сам я не могу, никак не могу. Все это время я ожидал, чтобы ко мне посадили другого.

Жутко блестящие в темных углублениях глаза были теперь устремлены на Адриана. Видя в них отчаяние и мольбу сумасшедшего, он прислонился спиной к стене, чтобы подавить холодную дрожь. Скелет наклонился почти вплотную к нему. Горячее, хриплое дыхание обжигало ему лицо.

— Нет ли у тебя припрятанного ножа?... Ты молод, у тебя такие здоровые и сильные руки...

Зубы Адриана выстукивали дробь. Спрятав руки за спину, он стискивал их с такой силой, что пальцы трескали в суставах.

— Нет, нет! Не говорите! Вы — сумасшедший!

— Я бы хотел быть им. Как бы я хотел быть сумасшедшим...

Весь день он не унимался. Словно шелест тяжелого ветра в дупле гниющего дерева, раздавался до поздней ночи его голос в камере. Адриан лежал, обхватив

голову руками и зажимая пальцами уши, но все же слышал. Догадывался, что шепчут эти увядшие губы, что горит в темных впадинах глаз. Едва успев погрузиться в дремоту, он снова просыпался и со страхом наблюдал за соседом у противоположной стены.

Давно отцвели каштановые деревья. Мальчишки уже катали по мостовой коричневые, только-что вылупившиеся из игольчатой оболочки зерна. Там и сям на тротуаре валялся оторванный ветром пожелтевший лист. Миртовые кусты и лавровые деревья утратили свою сочно-блестящую зелень: прохладные предосенние ночи все больше покрывали их сырой тусклостью. На углу почти каждой улицы прохожий мог встретиться с ослом, нагруженным корзинами с виноградом, свешивавшимися по одной с каждой стороны. Погонщики щеголяли в стянутых на шее узлом платках и нахлобученных по уши широкополых шляпах. Седьмой раз Адриана водили от судебного исполнителя обратно в тюрьму. Теперь он шел в толпе других, закованных в кандалы по-одиночке или по-парно, окруженных тесным кольцом стражи. Они двигались медленно, умышленно уменьшая шаг, словно стараясь в течение краткого часа вдохнуть по возможности больше влажно-нежного осеннего воздуха. С невыразимой ненавистью устремлялись черные глаза с посеревших лиц на свободных прохожих, медлительно и самоуверенно прогуливавшихся мимо них по тротуару. Конвоиры были вынуждены сообразоваться с тактикой арестованных: неудобно затевать на улице скандал. Это может нарушить покой законопослушных граждан и оскорбить их чувство порядка.

Арестованные шли двенадцатью рядами, по четыре человека в каждом. Адриан был предпоследним с правой стороны. Он шел, безвольно опустив голову,

тяжелыми, вялыми шагами, словно не замечая, где находится. Когда он отставал, крайний в последнем ряду умышленно старался больно наступить ему на пятку. Шагавший рядом конвоир тарасил на него злобно выпученные глаза и шопотом сыпал проклятиями. Громко ругаться он не смел, так как шествие как-раз двигалось по Кардинальскому бульвару, вдоль дворцового парка, где по вечерам обычно прогуливались чиновники министерств и высокопоставленные воинские чины. Эти господа любили убеждаться собственными глазами, что тюремная администрация и служащие стоят на высоте своих задач и арестованные идут смирно и в порядке, ритмично постукивая туфлями, как батальон солдат, толкаемый железной дисциплиной навстречу подстерегающим траншеям неприятеля.

Так же, с опущенной головой, Адриан стоял перед судебным следователем, храня тупое молчание. На этот раз следователь был в офицерском мундире и говорил резко и грозил. По существу дела он не знал ничего и поэтому вел допрос с самого начала. Ни единого слова не сказал ему Адриан в течение полутора часов. Приготовленный лист бумаги сохранил свою девственную чистоту. Следователь кричал об упрямстве бандита, о попытке симулировать слабоумие, но это была неправда. Адриан смотрел поверх его головы через окно первого этажа на площадь Старой Комедии. Окно было очень высокое. За ним мелькали автомобили, тритоны выплевывали струи воды в бассейн фонтана, на ступеньках мраморной лестницы смакали и резвились ребятишки, а из щелей колоннады выпархивали сизые и белые голуби.

Слухом Адриан как будто улавливал задаваемые ему вопросы, но мозг его был не в состоянии осмыслить

их. Им владело такое чувство, словно он должен продумать какую-то великую мысль, но и ее он не мог выразить словами. Не мог даже теперь, когда увидел кокетливо выпятившийся фронтон кардинальского дворца с его изображениями языческих богов и богинь.

Адриан обратил внимание на посеревшую в холодные ночи зелень мирт и лавров и неожиданно для самого себя открыл рот. У него был такой вид, словно он собирался выкрикнуть в лицо себе или кому-либо другому то, о чем думал все время. Но в этот момент раздалась грозная команда, они повернули под прямым углом и двинулись по узкой, пустынной аллее, на противоположном конце которой виднелись ворота в стене тюремной ограды. И снова оцепенение охватило его.

За воротами их погнали почти бегом. Здесь конвоиры имели возможность полностью излить накопившееся во время медленного продвижения по улице бешенство. На это они имели неоспоримое право. Один устал от долгого дневного труда, другого, может быть, ожидала жена с простывшим обедом... Сорок восемь пар туфель производили безобразный шум на неровных камнях двора. Толпа полосатых людей, изгибаясь, как змея, проскользнула через вторые ворота.

Адриан поскользнулся, и голова его невольно метнулась кверху. Глаза расширились и рот приоткрылся, но с губ не слетело ни звука. В течение краткого мига он видел пожелтевший каштановый лист, который, подобно большой бабочке с иззубренными крылышками, плавно раскачиваясь, опускался над их головами и упал где-то сзади. Он хотел остановиться, — ему нужно было оглянуться посмотреть на него еще раз, взять его в руку. Но полосатая толпа и бешено опустившиеся винтовки

увлекли его с собой. Он прижимал ладонь к груди, — что-то спирало дыхание и грозило разорвать сердце. Ужасное гроыхание тувель заглушило его слабый вскрик.

Но в незнакомой камере, куда его на этот раз поместили одного, казалось, свистали пронизывающие ветры. Он стоял со стиснутыми руками, дыша с трудом, и наблюдал затуманившимися глазами жгуче-яркие картины своей горестной судьбы.

Посерели миртовые кусты и лавровые деревья. В воздухе качается пожелтевший каштановый лист. Значит, уже осень. Восемь месяцев. Куда девались эти восемь месяцев? Кто похитил у него эту прекрасную, эту самую прекрасную пору его жизни? И где был он сам все это время?

Прислонившись к стене, он предоставлял острому сверлу воспоминаний все глубже впиваться в его мозг. Словно в преисподней, его жизненные инстинкты были за это время доведены до сумасшедшего напряжения, а затем снова погружены в идиотическое оцепенение. Один искушал его соблазнительными картинами свободы, не поблекшими даже за семнадцать лет. А другой со своим кошмарным бредом о смерти, своим замогильным голосом, запавшими в черные углубления глазами, своим телом скелета, — со всем... Он не мог бы сказать, что сделал тот с его молодой, цветущей жизнью. Но это был ужас, и он не мог понять, почему его не увели вместе с тем в подвалы для умалишенных.

Он машинально устремил глаза на свои руки. Они были серые и костяные, как у всех здесь. Провел ладонями по щекам. Они представляли собою две глубоких впадины. Нигде здесь не мог он посмотреть на свое лицо. Но при одной мысли о том, каким оно может быть, он содрогнулся всем телом.

Что сказала бы сестренка, увидев его таким... Сестра... При этом слове он внезапно словно провалился в какое-то горячее облако. Перед глазами закрылся воющий вихрь, хотя он зажмуривал их со стиснутыми зубами. Там был фонтан с бледными, низвергающимися в бассейн водяными струями. Галдящая портовая толпа с черными клубами дыма и синевою моря за нею. И каштаны с белыми пирамидками цветов на всех ветках, и пылкое солнечное сияние над ними...

С простертыми руками он, словно безумный, бросился вперед. Но стиснутые кулаки больно ударились об стену. Пошатнулся и, склонившись всем телом к окну, пришел в себя. Окошко в тонкой стене было расположено так низко, что, подпрыгнув, можно было ухватиться руками за решетку.

Прямо напротив возвышалась церковная колокольня, напоминая шило с небольшим крестом на конце. Колокольня смотрела черными отверстиями амбразур в окна тюрьмы. Он знал, что там поставлен пулемет, так как администрация со дня на день ожидала восстания в тюрьме. Доносились отчетливые звуки шагов, — там расхаживали часовые, неся в руке готовую к выстрелу винтовку, как на охоте, и следили, не покажется ли в каком-нибудь из окон голова заключенного. Утром один из часовых стрелял, пуля со звоном ударилась в решетку и с визгом вильнула куда-то в сторону. Воспитанники военного училища были неважными стрелками, но зато на них можно было положиться во всех обстоятельствах...

Загремел ключ. Адриан повернулся. Первый посетитель за все время его заключения, и к тому еще поздним вечером. Длинная черная ряса наглухо застегнута от самого ворота до пяток. Волосы коротко острижены, на затылке круглая плешина, похожая на сереб-

ряную монету. Лицо круглое и гладкое, длинные ресницы потуплены. Когда он поднял их, на заключенного глядели два нежных и грустных глаза.

Послышался тихий, бархатно-мягкий голос:

— Мир с тобой, мой сын! Не желаешь ли ты сказать мне что-нибудь?

Нет. Адриан не знал, что бы он мог сказать этому человеку. Наклонив голову, он смотрел на него, как на некое чудо. Тогда тот заговорил снова:

— Я знаю, что у заключенного много горестей на душе. Стены эти ложатся невыносимой тяжестью на тело человеческое, но зачастую приносят благодать и спасение душе. Здесь есть время поразмыслить о своей грешной жизни и сознаться в своих кровавых преступлениях. Не желаешь ли ты задать мне вопрос?

Но вопрос уже вертелся у Адриана на языке.

— Может быть, вы заходили к моей матери? Вы знаете мою мать? Вам следовало бы ее знать, — она так набожна. Она живет в подвале около церкви св. Иосифа, как-раз под мастерской жестянника.

— Что такое матери и сестры, отцы и братья по сравнению с единственным и великим, в руке которого наша жизнь и смерть! Что такое жизнь в этом мире по сравнению с неизвестным, что ожидает нас после смерти! Думай об этом и только об этом, сын мой!

У Адриана руки опять сжались в кулаки.

— Я не желаю думать об этом. Я хочу жить. Скажите, чтобы меня выпустили отсюда. Здесь я задохнусь.

Посетитель грустно повертел головой.

— Не из собственных своих рук получили мы наши жизни и не от нас зависит наша смерть. Мы должны держать ответ только за свою душу. Десять жизней не имеют никакой ценности и десять смертей ничто по сравнению с тем, если душа уходит из тела не обращен-

ная и без раскаяния! Поэтому исповедайся мне в своих грехах и покайся! Может быть я сумею указать тебе путь к спасению.

Придвинувшись к спасителю почти вплотную, Адриан наклонился к самому его уху.

— Вы поможете мне бежать?

Тот отодвинулся, слегка возмущенный и задетый. В всепрощающих глазах его вспыхнули искорки гнева.

— Никто не избежит заслуженной кары, нераскаянный грешник! Мысли твои заняты только мирскими делами, ты привязан к праху — себе самому, ты любишь мирскую жизнь — тлен и суету сует. Сотня лет — лишь один миг в вечности потустороннего мира.

Теперь Адриан имел ясное представление об этом человеке и его целях. Это был еще зловреднее шпиика. Матери и сестренки — всего он хотел его лишить. Подобно разъяренному зверю метнулся Адриан к нему...

— Молчи ты, окаянный!

Тот отскочил, затем оглянулся вылезшими из орбит глазами. Из них исчезли последние следы смирения, уступив место страху и бешенству.

— Ты... смеешь!

Заклоченный продолжал наступать на него.

— Я задушу тебя, стервятник!

Но схватил лишь пустоту и царапнул ногтями окорванную железом дверь. Ключ долго гремел в пустынном коридоре.

Когда полчаса спустя явились два исполина с засученными рукавами, поросшие шерстью, как животные, и кузнец с наручниками, Адриан лежал, растянувшись около стены. Глаза были открыты, но смотрели неизвестно куда. От увесистого пинка ногой он не застонал, а только пошевелинулся, как пошевелинулся бы деревянный чурбан. Понаблюдав некоторое время за

ним, пришедшие переглянулись, пожали плечами и ушли. Три дня Адриан пролежал в таком состоянии. Возле него валялся кусок высушенного хлеба цвета запекшейся крови. Похлебка в миске покрылась толстым слоем плесени, по которому ползали черви.

Затем он опять стоял в коридоре у дверей конторы, серый как измытанная полотняная тряпка. Вокруг него четыре конвоира, вооруженные винтовками с примкнутыми штыками. Не отрываясь ни на миг, четыре пары глаз следили за каждым его движением.

Но опасаться с его стороны было нечего. Он даже не шевелился, все еще ошеломленный тем, что ему объявили.

Из конторы, хохоча и мотая головой, вышла проститутка, держа подмышкой узел с одеялом и подушкой. Оскалив зубы, надзиратель со связкой ключей последовал за ней. Она ушла в противоположный конец, словно в танце постукивая по асфальтовому полу стоптанными башмаками. Адриан вспомнил, что это та самая женщина, которую весной привели сюда одновременно с ним. Отсидела свой срок и выходит на волю. В другом конце с грохотом и лязгом открылись решетчатые ворота и взрыв звонкого смеха донесся в коридор. Адриан сделал движение, словно собираясь двинуться вслед за нею или позвать ее назад. Но в этот момент конторщик сунул ему в руку пачку исписанной бумаги и нужно было отправляться.

В двадцать восьмой камере тем временем появилось целых полкаравая свежего хлеба, а над краем миски торчал конец утонувшей в похлебке ложки. Около стены валялся набитый свежей соломой мешок...

Однако, Адриана подобная заботливость нисколько не тронула. Он, в сущности, почти даже не заметил перемены. Когда явился облеченный в казенный мундир

защитник, он все еще продолжал стоять, как идиот, повернувшись к окну и глядя на церковную колокольню, вокруг которой летали сизые и белые голуби.

Обыкновенный военный суд, по мнению защитника, имел значительные преимущества перед судом военно-полевым. В виду тяжести основанного на определенных статьях обвинения приговор, конечно, не изменился бы в зависимости от передачи дела в тот или другой суд. В особенности потому, что сын председателя суда, занимавший летом должность помощника коменданта гарнизона, во время забастовки на патронном заводе был ранен камнем в голову и до сих пор продолжал находиться в психиатрической лечебнице.

Прежде в тюремном дворе за прачечными расстреливали лишь в ночь на вторник и четверг, да и то не больше двенадцати человек одновременно. Теперь же расстрел регулярно производится также в ночь с субботы на воскресенье, при чем нередко партией в двадцать пять человек. Но приговор военного суда можно было обжаловать в верховном суде. Если бы и этот шаг не имел успеха, остается еще просьба к королю о помиловании. С ссылкой на молодость и глупость Адриана она может до некоторой степени рассчитывать на успех.

Защитник ободряюще рассмеялся и хлопнул его по плечу. Суд назначен на послезавтра. Завтра после обеда он зайдет еще раз и научит его, что говорить на суде.

Ночью Адриан задремал, прислонившись плечом к стене. У него не было определенных мыслей, — мозг изнывал в хаотическом бреде. Мать, сестренка, тюрьма и свобода, — все потеряло значение и стало лишним. Забитая, оскверненная, измученная голая жизнь невыносимо ныла в каждом нервном волокне, в каждой клеточке.

На рассвете за стеной раздались громкие шаги надзирателей. Тогда Адриан спокойно, словно исполняя приказание, словно дождавшись точно установленного часа, подошел упругой походкой к окну. Оно было расположено довольно высоко и руками до него нельзя было достать. Перегнув пополам мешок с соломой, Адриан взобрался на него и, ухватившись обеими руками за решетку, подтянул кверху свое легкое тело. В ту же минуту на дворе послышался дикий крик:

— Долой с окна!

Как это ни странно, но крик испугал его. Руки сами собой повисли вдоль тела, он отшатнулся и некоторое время беспомощно моргал ослепленными ярким светом глазами. Чего же он, в сущности, хотел? Что ему нужно было сделать? Но затем как будто вспомнил. Да!

Минуту спустя, он снова ухватился за решетку и, напрягая все силы, подтянулся к окну так решительно, что уткнулся лбом в прохладное заржавленное железо. Тело внезапно стало невыносимо тяжелым и вялым, пропитавшись тюремной сыростью, страданием и безграничным до безумия отчаянием. Часовой стоял, отвернувшись. Адриану казалось, что проходит целая вечность прежде чем тот снова поворачивается и смотрит ему прямо в глаза. Казалось, что не выдержит и руки вот-вот выпустят решетку.

Однако, он выдержал. Улыбнулся и хотел кивнуть головой. Часовой не стал предупреждать вторично, — это не входило в его обязанности. Слух Адриана уловил короткий треск, напоминавший хлопанье бича.

Позвякивая ключами, по коридору забегали надзиратели. Широко раскинув руки, Адриан лежал на полу камеры. Только ноги на мешке с соломой подергивались, как будто по ним проходил ток.

А КУРЦИЙ

ЛИДЕРЫ

Перевод с латышского

Э. С.

Андрей Курций — талантливый представитель той части латышских писателей, которая, проникшись идеологией рабочего класса, находится еще в стадии поисков своего места в литературе. Немногочисленные новеллы Курция говорят о высокой культурности писателя и революционизирующемся миросозерцании. Живет в Латвии.

A. KURZIJS

«Lideris»

АНДЕРЫ

История и современность

С. С.

Андрей Курзиjs — выдающийся политический деятель, один из лидеров движения за демократические реформы в Латвии. Его деятельность направлена на укрепление демократических ценностей и развитие гражданского общества. Он является автором многих статей и выступлений по вопросам государственного устройства и прав человека.

В качестве эмигранта я получил работу вместе с тамошними уроженцами Джонами и Джеками в Мельбурнской скотобойне.

Это была крупная и двойная победа после понесенных мною на родине поражений. Во-первых, я одержал победу над своим ужасающим аппетитом, во-вторых, — над душой, которая раньше с невыразимым отвращением отворачивалась даже от витрин мясников.

Скотобойня, на которой я работал, доставляла филе, антрекот, почки, мозги и сало для всего города. Человек, в особенности же австралиец, как известно, не в состоянии обходиться без филе и антрекотов, не говоря уже о сале. Поэтому мы, рабочие скотобойни, целыми днями и ночами резали, обдирали и заготавливали товар для рынка.

Как все в этой стране, так и эта работа совершалась по строгой, почти тэйлоровской системе, напоминая религиозный обряд или ритуал.

В обширном загоне, где были устроены также навесы, паслись стада быков, обреченных на смерть. Мы гнали их парами или больше по широкому ходу к загону меньших размеров, откуда узкая щель вела на небольшое возвышение, называемое мостом смерти.

В высившейся над этим местом стене торчали концы железных полос с подъемным механизмом, от которого на толстых цепях свешивались вниз железные когти, обладавшие способностью при помощи механизма сжиматься и разжиматься. По ту сторону подъемника в стене находилась дверь, а сбоку от нее — искусно замаскированные ворота, назначение которых представляло для меня в первое время загадку.

После того как быки попадали в небольшой загон, им приходилось расставаться и двигаться по-одиночке дальше к мосту смерти, минуя узкую щель. Едва животное, отфыркиваясь и храпя, ступало ногой на возвышение, как железные когти, опустившись на спину его, цепко охватывали жертву и приподнимали на воздух таким образом, что животное чуть касалось копытами земли. Одновременно с этим в дверях появлялся мальчуган, который ловко набрасывал быку темную тряпку на глаза. Затем наставала очередь резника, проламывавшего с помощью долота и молотка животному череп. В тот же момент туша подхватывалась подъемником и перебрасывалась на другую сторону стены для дальнейшей обработки.

Таков был обычный ритуал, повторявшийся ежедневно.

Я был погонщиком быков. Джекам и Джонам казалось, что я пригоден исключительно для работы, точно так же, как, по их мнению, быки могли иметь лишь одно единственное назначение в жизни — быть зарезанными, превращенными в сало и филе, а затем съеденными.

Среди обреченных на смерть животных, разумеется, находились и такие экземпляры, которые не желали приближаться к цели своей жизни обычным порядком. Но для таких у нас имелся целый запас различных

инквизиционных приборов, предназначенных для причинения боли. Особым успехом пользовались так-называемые электрические полена, которыми мы тыкали в бедра упрямым кандидатам смерти, отчего они, словно ужаленные, с мычаньем бросались вперед. Джеки и Джоны в таких случаях искренно хохотали.

Выпадавшие мне немногие свободные минуты я проводил в этом же загоне среди скотины, то валяясь на сожженной солнцем, порыжевшей траве, то блуждая под навесами. Однажды мне удалось обнаружить в одном из наиболее отдаленных углов загона особенно опрятно и удобно устроенный навес. Под ним стояло несколько быков, спокойно пережевывавших жвачку и глядевших на меня безразличными глазами. Шерсть у этих привилегированных представителей бычачьего рода была короткая, гладкая, блестящая. Когда им надоедало жевать и дремать, они выходили из-под навеса и лениво бродили по загону, развлекаясь время-от-времени единоборством, никогда, впрочем, не доходившим до серьезного столкновения.

Под тем же навесом, но в особом отделении помещалось также несколько толстопузых баранов и овец, предававшихся часто и без стеснения своим излюбленным забавам. В этом отношении они пользовались обширными правами и моральными преимуществами в проникнутом столь строгим пуританским духом учреждении.

Все это возбудило во мне подозрения и вызвало некоторую враждебность к этому привилегированному навесу. Однако, прошло несколько дней, и я все еще продолжал пребывать в неведении относительно роли обитателей этого навеса. Наконец, однажды утром произошел следующий случай.

В то утро, как всегда, мы погнали из большого загона на мост смерти стадо быков. Случилось так, что скотина на этот раз была особенно крупная и сильная. Мне сказали, что животные доставляются из Новой Зеландии. Впереди стада шествовал великолепный, белый с мелкими рыжими крапинками бык. Он шел, испытующе поглядывая вокруг себя и как будто о чем-то раздумывая. Время-от-времени он сердито опускал голову. Когда останавливался вожак, останавливалось и все стадо. Таким образом, не торопясь, он пришел во второй загон. Но от входа в щель, ведущую на мост смерти, животным надлежало двигаться дальше в одиночку.

Великан-новозеландец вдруг остановился и бросил угрюмый взгляд в сторону моста смерти. Острый хвост его с враждебным свистом рассек воздух. Затем, понурив голову, он издал глухое, тоскливое, словно шедшее из самых недр сердца мычание. Казалось, что он понял, в какое положение попал вместе со своими товарищами. И отказался сделать хоть шаг дальше. Со всех сторон к упрямцу сбежались Джеки и Джоны и, злобно ругаясь, стали тыкать ему в бедра и живот электрическими поленьями. Однако, это не помогло. Животное все дрожало, но не трогалось с места. И когда мучители все еще продолжали пытку, оно согнуло передние ноги и, опустившись на колени, застыло в таком положении. Из ноздрей быка текла кровавая слизь.

В этот решительный момент в дверях на мосту смерти появился сам мастер резников.

— Идиоты! — завопил он. — Какого чорта вы портите шкуру быка. Сию же минуту выпустить лидера, остолопы!

Один из Джеков со всех ног бросился за лидером.

Что это означало? Я с недоумением стал ждать дальнейших событий.

Должен признаться, что под словом лидер я в то время подразумевал понятие совершенно иного порядка.

Немного погодя, я увидел приближавшегося торжественной поступью лидера. Это был бык, в котором я сразу узнал одного из обитателей привилегированного навеса. Подбежав к измученному новозеландцу, лидер обнюхал его с дружелюбным и беспечным видом. И тут, — о, чудо! — белый великан, тяжело дыша, поднялся на ноги. Тогда лидер двинулся дальше и, затрутив впереди него по направлению к мосту смерти, время-от-времени дружески оглядывался назад. Новозеландец шагал за ним тяжело и мрачно и вступил, наконец, на мост смерти. Тут произошло величайшее предательство, какое только мне приходилось видеть за всю мою жизнь: бросив на своего несчастного соплеменника игривый взгляд, лидер, помахивая хвостом, исчез в воротах, назначение которых до тех пор оставалось мне непонятным, но которые теперь открылись и закрылись точно по мановению волшебного жезла.

В тот же момент опустился черный подъемник, и железные когти, схватив обманутое животное, приподняли его на воздух. Взгляд его был так ужасен, что мальчишка с тряпкой не осмелился приблизиться к нему. Держа долото в руках, резник подскочил к ошеломленному быку, и в помещении, где все Джеки и Джоны затаили дыхание, раздался треск ломающейся черепной кости. Все облегченно вздохнули. Остальное совершилось в обычном порядке.

Только я с того дня уже не мог обрести прежнего покоя. Особенно волновали меня случаи, когда высту-

пали лидеры. А происходило это, как потом выяснилось, не так уж редко.

Не раз выступали также лидеры овец: с дьявольским блеянием и помахивая своими жирными обрубами хвостов, они без труда вели навстречу смерти своих легковых товарищей.

Чем ближе я знакомился с лидерами, тем больше возрастала моя ненависть к ним.

Так это продолжалось еще в течение нескольких месяцев, пока не случилось неизбежное.

Прошла зима со своими дождями. На зеленой траве отпечатывались следы кенгуру. Утра были свежие и ясные. В одно подобное утро мы опять погнали на убой стадо быков. Во главе стада шел молодой черный бык с белой звездой во лбу. Он был так прекрасен, что классик сравнил бы его с богом древних египтян — быком Аписом. Мне он представлялся символом первобытной жизненной силы.

Около входа на мост смерти Апис остановился. Но Джеки и Джоны, не забывшие еще, очевидно, неприятного случая с белым новозеландцем, на этот раз даже не пытались мучить свою жертву, а сразу же послали за лидером. Тут я впервые отчетливо почувствовал, что во мне инстинктивно назрел злонамеренный план. Электрическое полено в моих руках тряслось. Не успел веселый и беспечный лидер подбежать к Апису и по всегдашней привычке дружески обнюхать его, как я, не в силах больше выдержать, ткнул его электрическим поленом в живот с такой силой, что он, раскорячив ноги и отчаянно мыча, в ужасе бросился на мост смерти и исчез за своими воротами, оставив на земле бурое пятно.

Пришедшие тем временем в себя быки с мычаньем кинулись назад, к большому загону. Разъяренные жи-

вотные бросались на ограду бойни и, как я впоследствии с большим удовлетворением узнал, некоторым из них даже удалось прорваться в степь.

Подобного случая в своей практике не мог припомнить ни один из Джеков и Джонов. Но непосредственным результатом этого случая явилось то, что я в тот же день снова оказался без работы и очутился на том же шоссе, с которого явился. Однако, в сердце моем царил покой: позади меня остались лидеры и с ними моя ненависть.

К. РУМОР

КРОВАВЫЕ ВЕХИ

Перевод с эстонского
Э. ПАКЛАР

Карл Румор — писатель, отражающий взгляды той части эстонской интеллигенции, которая еще не освободилась от плена эсдековской идеологии. Писателя выручает несомненная талантливость и беспристрастность, заставляющие читателя, помимо своей воли, видеть вещи в их подлинном свете.

К. Румор родился в 1886 г. и живет в Эстонии.

K. RUMOR
„Verised tähised“

K. RUMOR

KROVABAYE BEHN

Издательство „Степанос“

Э. ДИКАР

К. Румор родилась в 1886 г. в имении в Стамбуле.
Позднее переехала в Париж.
Татарское родство ее матери, которая была
из известной татарской семьи, оказало большое
влияние на ее творчество. В ее произведениях
отражены многие проблемы татарского народа.
К. Румор была известна как поэтесса, прозаик
и драматург. Ее творчество охватывает период
с начала 20-х годов до конца 30-х годов.

Он блуждал уже долго. От переутомления ему казалось, что им овладела тяжелая горячка, что он лезет куда-то все выше и выше по бесконечной веревочной лестнице. Самочувствие его приближалось к состоянию опьянения: в походке не было устойчивого равновесия, в движениях — твердой воли.

Ему представлялось, что кто-то долго и бесцельно кружил его на одном месте. Восприятия утратили отчетливость и ясность. Мерзлая корка на снегу, местами обледенелая и скользкая до невозможности устоять на ногах, местами хрупкая и ломающаяся, изматала его в конец, сделав безучастным и равнодушным ко всему. Ему казалось, что он шагает не по снежным полям и лугам, мимо лесных опушек, обходя болотные трясины, а по чудесному мягкому ковру, сотканному из его собственных дум и сновидений.

Но сквозь дымку миражей и зачарованности ему отчетливо вспоминались переживания предыдущего дня, начиная с безумно смелого и дерзкого нападения на казармы и кончая бегством. Он видел все дороги и тропинки, по которым пришлось бродить, точно они были протянуты сквозь его мозг длинными нитями.

Все направления казались беглецу одинаково опасными. Поэтому он часто останавливался в чаще деревьев, озирался, проверял оружие и, затаив дыхание, напряженно и долго прислушивался.

Раза два он взбирался на высокое дерево, чтобы осмотреть окрестности и ориентироваться, а затем двинулся по направлению к песчаным холмам за городом, не будучи уверен, что они еще не оцеплены полицией. Опасаясь приближаться к дачам и другим жилым строениям, он лишь с наступлением сумерек выбрался из леса.

Их ловили и расстреливали. На них охотились теперь, как на лесную дичь. Они были вне общества, вне закона, вне государства, против которого выступили. Неизвестность и неопределенность положения давили невыносимо. Беглецу казалось, что он перелезает через какую-то исполинскую машину, невидимые крючья цепляются и тянут под вращающиеся валы и шестерни. Весь мир представлялся большой прядильной фабрикой, где вместо нитей в челноках натянуты жилы и нервы.

Ночь была беззвездная и безлунная. Часто беглецу приходилось напрягать зрение, когда ему казалось, что впереди маячат фигуры приближающихся людей. Но каждый раз они оказывались миражем, болезненной игрой усталого воображения. За два дня ему ни разу не пришлось столкнуться с людьми. Только мелькнули раза два огни хуторов. Он обходил их издали, опасаясь встревожить собак.

Под утро беглец вышел на железнодорожное полотно. Стал и прислушался. Телеграфная проволока на изоляторах гудела от дальнего ветра среди безмолвия и тиши окружающего.

Было около шести часов: двое суток прошло со времени их выступления. Что говорят и пишут о по-

встанцах в городе, какая судьба постигла пленных — это беглец представлял себе крайне туманно и смутно.

Во всяком случае выступление свидетельствовало о беззаветной смелости повстанцев. Но никто не пошел за ними, никто не поддержал их. Они бросили свой клич в безвоздушное пространство, где отсутствовало эхо. Страна продолжала спокойно спать. Все оставалось, как было, в глубоком безразличии и рабском подчинении. Те, к кому они обращались с призывом, на кого возлагали надежды, повернулись к ним спиной. Даже люди, склонные поддержать их боевой клич, в решительную минуту сочли более удобным остаться в стороне, поддавшись влиянию разного рода «осторожных и разумных». Именно эта-то молчаливая холодность, эта удручающая бездушная пассивность и была страшна. Одна мысль об этом парализовала и связывала волю, душила и давила, как свинцовый груз.

Беглец шел вдоль железнодорожного полотна. Вдруг впереди мелькнули огни. В сером предутреннем сумраке вырисовались очертания домов пригородного местечка. Местность была незнакомая. Сначала показалась водонапорная будка, потом станционная платформа, а несколько саженей дальше железную дорогу должно было пересечь шоссе и вывести его из местечка. Ему предстояло перейти через это шоссе и отыскать стоящий в стороне от остальных строений новенький дом с белой трубой.

Начертив себе мысленно этот план, он, прежде чем идти дальше, остановился, соображая. Достигнув первых построек, прильнул к затененной стене. Мимо прошли двое мужчин, оба в сапогах и барашковых шапках с длинными ушами. Они несли какие-то мешки, но без усилий и не торопясь.

Один из них сказал:

— Что хромая она — это еще полбеды. Иной деревянной ногой прялку крутит так, что смотреть любодорого.

Другой засмеялся и деловито заметил, что нельзя убивать двух зайцев зараз: жену и деньги.

Так, беседуя, они исчезли в темноте.

Где люди так спокойно и беззаботно разговари-

вают, там нет опасности», — подумал беглец. Скоро остались позади шоссе и строения. Без поисков вышел он на узенькую тропинку, которая вела к цели. В стороне от селения стоял дом с белой трубой и окнами, заколоченными частью досками.

Пришелец постучал кулаком в дверь. Он больше не сомневался в подлинности разыскиваемого дома. Но когда ответа не последовало, ударил со злобой в дверную петлю, готовый сокрушить и выломать дверь. «В такое время товарищи не должны спать», — подумал он.

Наконец, послышался скрип внутренней двери и осторожные шаги.

— Кто там? — неприятливо спросил сдержанный мужской голос.

— Отворите! — прохрипел стучавший. Он не говорил уже с позавчерашнего утра и сам смутился неприятной сиплости и беззвучности своего голоса.

— Что вам нужно? — послышалось из передней еще враждебнее и неприязненнее.

Стучавший с расстановкой, подчеркивая каждое слово, произнес:

— Пришел от Альфреда за биноклем. — Это был пароль.

За дверью все еще медлили. Хозяин ходил куда-то. Потом снова раздался его голос:

— Так вы говорите — за биноклем?

— Да, да! Разве это не дом часового мастера Ласточки?

— Сейчас, сейчас... Бинокль отправлен по почте.

Ключ щелкнул в замочной скважине и дверь открылась. Беглец зашел в переднюю.

— Это вы товарищ Ласточка? — спросил он, не скрывая своего недовольства.

— Тсс! — оборвал тот шопотом. — Тише! Не шуми...

Предупреждение возымело действие. Вошедший подобрался, как бы готовясь прыгнуть. Жарко дыша, приблизил он свое горящее лицо к лицу хозяина и прошептал:

— У вас чужие?

— Да, один есть. Вчера пришел. Бедро прострелено.

— Так это свой?

— Да. Еле-еле... едва успел улизнуть... Пулю под кожей с собой унес. Заварилась этакая каша... Эх, чорт побери!

Через темную комнату пробирались наощупь. Там было жарко, как в бане. Угарным запахом горелой краски, вероятно, от раскаленной печки, и чем-то вроде иодоформа или карболки ударило вошедшему в нос. Он почувствовал себя дурно. Гораздо охотнее сел бы и не двигался. Хозяин, незаметно для пришельца скользивший по комнате, бормотал вполголоса отрывочные фразы и не знал, что ему предпринять с неожиданным гостем. Неоднократно наталкивались они друг на друга и вообще хозяин проявлял полную растерянность. Это взорвало обозленного уже ранее пришельца. Поймав своего спутника за руку, он стал трясти его, как бы желая вернуть самообладание этому растерявшемуся человеку.

— Огня, огня бы надо! Ведь есть же у тебя занавеси на окнах.

— Да, да... Я этого как-раз и хотел... но спички, — чорт их знает... точно в прорубь провалились. Сюда иди, товарищ!

Он пошел в другую комнату, увлекая за собой гостя. Там горел маленький ночник с абажуром, прикрепленный к изголовью деревянной кровати так, чтобы свет не падал на окна. Комната была тесно заставлена мебелью. Между окнами поблескивало трюмо. Рядом — полированный комод. Два или три небольших стола в простенках. Большой гардероб с овальным зеркалом. Мраморный умывальник и шкаф с посудой. Множество стульев. Два кресла, покрытые вышитыми чехлами. Много места занимала огромная двуспальная кровать, над которой вся стена была увешана картинами, фотографиями и лепкой из мастики. С потолка спускалась белая птица с распластанными крыльями: вероятно, собственноручная резьба хозяина по дереву.

Гость с изумлением осматривался вокруг. Он принес с собой на мерзлых сапогах комок снега и отбивал теперь его, ударя носками о пятки. Стряхнул с шапки капли воды. Расстегнул пуговицы шинели. Начал приводить в порядок свою одежду и со стуком бросил на стол тяжелый парабеллум.

— Победили, дьяволы! — произнес он мрачно.

Бросив свое тело в ближайшее кресло, он подпер подбородок кулаком правой руки, а левой уперся в бок.

С кровати за ним следила пара больших круглых глаз, не то с упреком, не то с любопытством. Там лежал человек, молодой еще, почти юноша, в мягком трикотажном белье, в подтяжках через плечи и в обмотках защитного цвета. Так он, вероятно, лежал всю ночь, полуодетый. Вид у него был утомленный и боль-

ной. В общем же он производил хорошее впечатление благодаря своему высокому, крутому лбу и темным, выющим волосам.

Он приподнялся на локте и дружески спросил вошедшего мягким баритоном:

— Мне кажется, что мы уже знакомы. Как будто где-то встречались. Как твое имя, товарищ?

Такой же вопрос, повидимому, вертелся на языке у хозяина.

— Зачем вам знать? — ответил вопрошаемый. — У меня нет имени. Зовут меня — номер 13.

Тон ответа был сух и холоден и внес в комнату гнетущее молчание. Вообще в поведении пришельца сквозило откровенное недоверие и явная враждебность. В черной кожаной куртке, из-под которой виднелся свитер и высокий воротник френча, в сапогах выше колен и кавалерийских брюках он казался спрятанным под этой строгой одеждой.

— Что, ранили?... — неожиданно обратился он к молодому. Душа, верно, сразу в пятки ушла... Да, делать революцию не совсем безопасно!

Юноша не ожидал такого выпада и тем более такого тона, в котором слышалась насмешка, даже злорадство. Он покраснел и смущенно ответил, как бы извиняясь:

— Это случилось при бегстве... Не знаю, когда именно, не заметил даже. Но ничего особенного: пройдет.

— Особенного-то ничего, да пуля-то сидит в мясе.

— Нет, навывлет. Кольнуло словно шилом. Вчера сочилась кровь, но ходить можно. Теперь разболелась от лежания. Это пройдет. Товарищ Ласточка сделал перевязку.

— В какой дружине были?

— Вокзал занимали.

— Гм... Важная персона!—промычал гость. И снова в его голосе послышались насмешка и чувство собственного превосходства. — Что же вы там успели сделать?

Юноша ответил не сразу. Видно было, что он ведет с собой внутреннюю борьбу. Но собеседник снова начал:

— Да, не повезло. Побили нас, дьяволы! — он надавил на стол сжатым кулаком, как бы желая сплющить его. — Но пусть: в конце концов победим все-таки мы.

Теперь и у молодого развязался язык. Он оказался словоохотливее, чем можно было ожидать. Подробно и пространно рассказал о случившемся с его дружиной. Правда, не было ясного представления об истинном положении дела. В его изображении все происшедшее приняло эпизодическую, случайную окраску.

Пошли. Вокзал сдался без сопротивления. Были патрули, были офицеры.

Он стоял внизу, стерег телефон. Потом взошел на подъезд вокзала и стрелял вдоль платформы. Некоторые из повстанцев бежали через железнодорожные пути, другие рассеялись по дорогам. Пришли войска с танками и пулеметами. Невозможно было удерживать долее станцию. Некоторые товарищи укрывались, отстреливаясь, в вагонах, где и погибли.

Номер 13 слушал рассказ безучастно и рассеянно. Да и слушал ли он в самом деле? Взгляд его застыл на одной точке, а мысли блуждали неизвестно где. Мрачным и одеревенелым казался он. С всклокоченными волосами, с лоснящейся лысиной на затылке он своим профилем поразительно напоминал те шаблонные портреты, которые дети разрисовывают

тушью, наложив на картон образец. Тонкие, со скептическим выражением губы и острый, с подвижными ноздрями нос, наоборот, свидетельствовали об интеллигентной, живой, может быть, даже страстной натуре. Вдумчивое выражение делало его лицо далеким и холодным, тусклые глаза оставались спокойными и безразличными. Со своими белокурыми волосами, бесцветной бородкой и мундиром он плохо подходил к этим людям и этой обстановке.

Выслушав рассказ молодого, он только чуть приподнял голову и сказал:

— Ну, а дальше?

— Дальше? Я теперь здесь.

Номер 13 как бы очнулся от сна.

— Верно: теперь мы здесь. Но скажите, товарищ, есть у вас какие-нибудь виды? Или мы так и останемся здесь?

— Я думаю, что... Я думаю... — начал хозяин, который до сих пор беспомощно топтался на месте, не зная куда приткнуться. Но новый пришелец не дал ему кончить. Окинув его ледяным взглядом, он сказал:

— Ты думаешь, товарищ, — да плохо, видно, думаешь. Ясно, что ты останешься, но мы должны уйти. Можешь ли ты по крайней мере на сегодня оставить нас у себя?

Не нравился новому гостю этот испуганный часовщик, которого беглец представлял себе совершенно иным. Он сам, номер 13, никогда не разыскивал спичек, так как они были у него всегда под рукой. Вообще он не помнил, чтобы ему приходилось когда-нибудь раздеваться, ложась в постель, чтобы в его спальне горел ночник, а на стене висели семейные фотографии. Никогда не занимался он вырезыванием из дерева птиц, чтобы вешать их под потолком. Не имел при-

станица и давно потерял потребность его завести. Товарищ Ласточка отнесся с большой терпимостью к странностям гостя и всем своим существом олицетворял живую готовность исполнять его распоряжения.

— Ну, конечно, разумеется... — бормотал он, делая пальцами движения, будто ловил висящие в воздухе кольца. — Это так и должно быть... На сегодня останетесь у меня. Я вас спрячу, так спрячу, что... никаких следов не останется.

Он просил, чтобы новый товарищ сам осмотрел квартиру. Все, что зависит от него, хозяина, он делает, — в этом сомневаться не нужно. Ведь он заранее предчувствовал катастрофу и даже сон соответствующий видел. Он знал, что это добром не кончится. Товарищи должны лучше знать, как теперь выкарабкаться из этого опасного и запутанного положения.

Они ходили осматривать переднюю, кухню, чулан. Раненый тоже ковылял за ними, хотя движение причиняло ему боль. Дом мастера был наполовину недоделан. Годны для жилья были только две тесные комнаты. Проход в заднюю половину дома был заколочен досками и засыпан опилками.

Номер 13 потряс отрицательно головой:

— Как в гробу!

— Но зато, товарищи, я вас так спрячу, что... Вот смотрите! — сказал хозяин.

Он оттащил от стены большой шкаф и открыл под ним дверцу — ход в погреб.

— Что, неправда? Там вас ни один чорт не сыщет. Принесу соломы и одежду... Шито-крыто и концы в воду... я вам говорю. Живите пока дела не поправятся.

— Туда? В подземелье?! — Номер 13 скорчил брезгливую гримасу, словно ему показали какого-то от-

вратительного уroda. — Ты думаешь, что эту нору не найдут? Не будь наивным младенцем, товарищ Ласточка. Неужели ты искренно думаешь, что я добровольно суну голову в эту западню? Ты знаешь, что это такое? Берлога медвежья, гроб, могильный склеп! Я еще не совсем свихнулся, чтобы похоронить себя заживо!

Часовщик виновато моргал, напоминая большого пса, которого побили неизвестно за что. Он, заикаясь, пробормотал что-то невнятное и прикрыл дверцу злополучного погреба. Общими усилиями поставили они шкаф на прежнее место.

— Мы остаемся наверху, — решил номер 13. — Трусостью шкуры не спасешь. Уж коли нас начнут здесь искать, то все равно не оставят щепки на щепке. Я не знаю, товарищи, что решили вы, но мой жребий, как говорится, давно брошен. Живым я не думаю отдаваться в руки кому бы то ни было.

— Я тоже! — сказал юноша.

Не говоря ни слова, они посмотрели друг другу в глаза, как бы заключая безмолвный союз на жизнь и на смерть. Домохозяин оказался при этом лишним. Он не годился даже в свидетели договора — до того растерянным и беспомощным казался этот человек. Переступая с ноги на ногу, он бормотал:

— Конечно, товарищи... конечно... Я ведь не знал... думал...

Все трое вернулись в спальню. Беглец без имени, тот, что назвал себя просто номером, стал шагать по комнате взад и вперед. Трудно было сказать, обдумывал ли он что-нибудь, или расхаживал по укоренившейся привычке. Несмотря на рослую и стройную фигуру, он казался сгорбленным, а плечи его дергались, как неуравновешенные коромысла. Он неожиданно

остановился перед хозяином и положил обе руки ему на плечи.

— Слушай, товарищ! — начал он. — Тебя втянули в скверную игру, но поправить дело уже нельзя. Коли накроют, то спекся и ты. На этот раз белые стервятники никому не дадут пощады. Лучше прилично умереть, чем дать им содрать с нас кожу живьем. О! Они охотно сделали бы из наших глаз яичницу, а из кишек скрутили бы канаты. Себя и своих семей не лишат они этого удовольствия. Но мы этого не допустим. Пусть издеваются над нашими трупами, топчут, обливают помоями! Умереть мы должны свободными, непоруганными!

Он говорил с такой силой и убеждением, словно каждая мысль его была выточена из твердого металла, с такой непоколебимой уверенностью, словно не допускал даже мысли о малейшем противоречии.

— Придется им не одного своего пса похоронить прежде чем до меня доберутся.

Это не была пустая угроза, необдуманная фраза, рисовка, театральная поза: так думал и верил этот человек в самом деле.

— Возьми теперь себя в руки, мастер Ласточка, и успокойся, — продолжал он отеческим тоном, обращаясь к часовщику. — Садись за свой стол, как ни в чем не бывало, разбирай винтики и закручивай пружинки. Покажи себя примерным и преданным рабом капитала. Но в то же время внимательно следи за всем, что происходит на улице. Чуть увидишь подозрительное, сообщай нам. Если до сих пор тебя не заметили и за твоим делом нет слёжки, то и теперь никто ничего худого не подумает. Вечером посоветуемся, что предпринять дальше. Так или иначе, уйти нужно. Но если за это время случится что-нибудь, тогда, то-

варищи... У тебя еще много патронов? — обратился он к раненому.

Тот не знал и сам. Достав из кармана грязную, растрепанную сумочку, он высыпал содержимое на стол.

— Отлично! — похвалил номер 13.

Сумка оказалась объемистой. На столе выросла кучка патронов.

У номера 13, в карманах тоже нашлись патроны, частью пачками, в обоямах, частью завернутые в бумагу. Они пересчитали свое имущество, и оно оказалось достаточным, чтобы дорого продать жизнь двух людей: два великолепных парабеллума и 216 патронов.

— У меня... у меня, товарищи... — робко заговорил хозяин, — есть припрятанная казенная винтовка.

— Правда? И ты об этом только сейчас говоришь? Где она у тебя?

— В подполье... под стружками. Купил у солдата, когда в прокламациях...

— Все-то ты, товарищ, прячешь в подполье! И людей, и оружие... — усмехнулся номер 13. — Винтовку ты должен сию же минуту вытащить!

Он уже вошел в роль вождя и распорядителя, чьи приказания должны быть исполняемы беспрекословно. Оба других молча признали его превосходство и подчинились его главенству.

2

Подготовившись, как следует, к самозащите, они последовали приглашению часовщика подкрепиться пищей. Младший почти ничего не ел и только выпил несколько стаканов воды. У хозяина, повидимому, также отсутствовал аппетит. Он извинился, что не может предложить гостям ничего горячего, так как жены

нет дома. Только номер 13 с аппетитом жевал хлеб, щедро намазанный маслом, резал ножом солидные ломти ветчины и обильно запивал все это молоком, которое он хлебал, как пиво.

— Гм! — промычал он с насмешкой в ответ хозяину. — Жены нет дома? У меня жены никогда не бывало, однако, всегда наедался досыта.

Чувствовалось, что он стал гораздо благожелательнее и откровеннее. Бросив несколько острот по поводу хозяйства часовщика, он принялся с большим юмором рассказывать о своем странствовании по городским окрестностям, находя смешную сторону даже в их теперешнем положении. В общем же речь его носила иронический и даже едкий характер. В желчных замечаниях по поводу людей и событий сквозило чувство собственного превосходства. В своей насмешливой, едкой критикой он смотрел на все свысока.

Хозяин дома, не удостоившийся симпатий нового гостя, все же привлекал его внимание. Прищурился один глаз и поджав тонкие губы, номер 13 с любопытством смотрел на кислую физиономию мастера. Право, большим неряхой оказался владыка небесный, создав этого неуклюже скроенного и нескладно сшитого человека. Он, видно, напоследок похлопал его по лысине ладонью и дал ему несколько тычков в затылок, так как в профиле товарища Ласточки не было ни одной симметричной черточки. Вид часовщика был такой, как будто ему все время приходится глотать что-нибудь невкусное или словно он собирается чихнуть и не может никак собраться.

Полное отсутствие бровей придавало ему пустынный вид, а смеющийся, с впадиной посередине нос сиротливо выделялся на этой безлесой равнине. И все же,

несмотря на все формальные недочеты, в этом лице было много энтузиазма и готовности к жертвам.

Когда кончили есть, номер 13 задремал за столом, уткнув лицо в ладони, а потом лег отдохнуть, но предварительно попросил младшего товарища взять на себя заботу об их общем деле: сделать нужные приготовления, следить за мастером, чтобы тот по глупости не наделал ошибок, и не выпускать ни на минуту из поля зрения окрестность дома, а также разбудить немедленно его, если на улице появится что-нибудь подозрительное.

Наступивший день оказался утомительно длинным. В первой комнате тикали бесчисленные стенные, карманные и ручные часы, будильники и хронометры специальных назначений. Каждые показывали свое особое время, словно все они помешались на идее издеваться над временем. Цветные часы с двойным циферблатом на лживом лице от-нечего делать играли и резвились: каждые полчаса распахивалась дверца, откуда выскакивала кукушка и принималась выкрикивать невероятное число часов. Эти шалости надоели, наконец, самому мастеру Ласточке. Он пощекотал кукушку мизинцем и она смолкла. Среди будильников был помешанный, который ходил только лежа на боку; стоило его поставить на ноги, как прекращалось тиканье. Вообще комната была наполнена удручающим шумом бесчисленных торопливых шагов всякого рода часиков и часов, которые в бешеной горячке погони за временем состязались друг с другом в быстроте бега. Было больно слышать эту бессмысленную спешку механизмов.

В задней комнате спал лицом кверху странный человек. Его неподвижное лицо походило на маску. Вокруг глаз расположилась зёмлисто-синяя бахрама,

как бы символизировавшая тяжелый и кошмарный сон.

Молодой человек слонялся из комнаты в комнату. Раненая нога причиняла боль. Чтобы забыться и чувствовать себя здоровым, он свертывал из табака хозяина тоненькие папироски и учился пускать дым через нос. Это вызывало легкую тошноту и неприятно туманило голову, вследствие чего физическая боль в бедре теряла свою остроту. Время-от-времени он поглядывал на улицу, следя за проезжающими и пешеходами.

Разговор не клеился. У часовщика на сердце лежала свинцовая тяжесть, но предусмотрительный мастер умело скрывал свое состояние. Поведение номера 13 сделало его осторожным. Он боялся теперь показаться в глазах товарищей смешным. Они не понимали его или он не понимал их. Что же прикажете ему, мастеру Ласточке, делать, раз у него есть мастерская и постоянное гнездо? Разве он виноват в этом? Ведь дом не получен им в подарок, а нажит собственными трудами и заботами. Общему делу и товарищам он всегда оказывает поддержку и даже теперь готов пожертвовать собой.

Только раз у него вырвался наболевший вопрос:

— Нужно ли было, в самом деле, предпринимать все это? Сколько теперь гибнет передовых бойцов! К чему? Для чего?...

Об этом ему хотелось спросить у того, кто спал сейчас в задней комнате, для которого эти сложные вопросы были просты и ясны.

В полдень пришла жена мастера. Найдя в доме чужих, она заметно расстроилась. Дело было плохо. Полиция перетрясла уж несколько домов в местечке. Арестован булочник Зильберг и несколько железно-

дорожных рабочих. Всех их под конвоем отправили в город. Желу Зильберга охранники обругали большевистской шваброй, грозили вздернуть на сук и прикрепить сверху красный ярлык. Вообще среди обывателей местечка господствует воинственное настроение. Даже буфетчик народного дома, который слыл сторонником рабочих и считался довольно красным, совсем побелел и чуть ли не записался в союз защитников отечества. Ее он отвел в сторону и многозначительно сказал:

— Теперь им, коммунистам проклятым, достанется... Твой мужчина тоже числится в списках подозрительных... Смотрите, будьте осторожны, — как бы чего скверного не вышло.

— Чорт их, бешеных, знает... может, и впрямь придут трепать нас, — докончила встревоженная женщина свой рассказ.

— А что там вообще видно и слышно? — спросил юноша.

— Все волнуются... — ответила она. — «Защитники отечества» совещаются и ведут по телефону переговоры с городом. Они — господа положения... Остальных и за людей не считают... знают свое: хватай, бей, дави! Души противника! Хотят переловить всех сомнительных, как только из Ревеля придет разрешение. Говорят, что ни одной красной души не выпустят из пригорода.

— Уж не выставлены ли у них караулы на дорогах?

— Что уж там дороги... — запричитала женщина. — Все местечко кишит ими. Как графы сиятельные, разгуливают около клуба и вокзала. Пьют и пируют. Хватает же у мерзавцев времени на это! А считают себя тружениками... Остальные — лентяи и лодыри.

Рассказ женщины встревожил мужчин. Они стояли обескураженные и молчали. Раненый разбудил спящего, который с сердитым видом сел на край кровати.

Выслушав новости, он несколько не удивился.

— Ну, да... А вы что же думали? Буржуазия спрячет руки в карманы и будет проповедывать альтруизм и братскую любовь? Было бы глупо с их стороны, если бы сейчас не показали своего могущества. Война, так война!

— Я думаю, товарищ, что мы должны уйти отсюда, — со вздохом сказал юноша.

— Сейчас? Днем? — удивился номер 13. Нет, это никуда не годится. Добровольно лезть зверю в пасть — неразумно. На этой равнине днем никуда не уйдешь.

Обсудив дело со всех сторон, прочие пришли к тому же выводу. Ждать и надеяться на удачу. Попытаться обмануть судьбу, или же дать судьбе обмануть их. Так оно и было с самого начала, — как говорит номер 13.

Кое-какие меры все же пришлось предпринять. Жена часовщика должна была пойти и попытаться подыскать к вечеру подводу у какого-нибудь небогатого крестьянина или другого надежного человека. К приходу поезда вся белая гвардия несомненно будет сторожить у вокзала. Это был наиболее подходящий момент, чтобы бежать через пустырь. Извозчик мог бы подождать на дороге. Но нужно делать так, чтобы ни у кого не возникало сомнений, — инструктировал номер 13. — Извозчик пусть возьмет с собой мальчика и едет как раз во время прихода поезда. Желательно, чтобы была хорошая лошадь, а возница опытный и бывалый. Ехать придется по проселочным дорогам, где меньше встречных. В крайнем случае они уйдут

и пешком, но приходится считаться с раненой ногой младшего, которая может подкачать.

Номер 13 говорил и действовал спокойно, с большим хладнокровием. Даже слишком бесстрастным и усталым казался он, невнимательным к товарищам по несчастью. Он долго стоял, опершись плечом о стену. Взял патроны, разделил их на две части. Улыбнулся своему младшему помощнику:

— Последние два заряда беречь для себя!

И снова усмехнулся.

— До этого тебе приходилось когда-нибудь быть в бою?... До позавчерашней драки? — спросил он. — Какова смерть на вкус — знаешь?

— Нет! — ответил юноша тихо.

— Я бывал... много раз. Знаешь, братец, противно, очень противно убивать человека. Но бороться бесконечно хорошо!

В этих словах, произнесенных сердечно, с глубокой искренностью, сказывалось самое противоречивое свойство природы говорившего: быть холодным, недоступным, с почти механическими импульсами на все и при этом грустить.

— Я много убивал, — продолжал он. — У меня, военного, была страшная, жуткая профессия, но я занимался своим делом со спокойной душой. Это величайшая гадость на свете! Знаешь, друг, человек убитый никуда не годен. Это отвратительная, бесформенная масса... не вызывает ни малейшего уважения и сочувствия. Отличнейший человек после смерти превращается в маленькую гнусную падаль. Я от души ненавидел всех распотрошенных, расстрелянных, исколотых, а все же убивал, несмотря на свое отвращение. Много раз стоял я под градом пуль, но все-таки уцелел. Теперь, возвращаясь в Эстонию, думал: не затем я все-

— так еду, чтобы быть здесь судимым и со скрученными руками угодить под винтовки. Но я боюсь, товарищи, до сих пор боюсь и сомневаюсь: умру я честной смертью, или нет?

Оба они сидели: юноша на кровати, а номер 13 на стуле. Сблизив головы лицом к лицу, они жадно отдавались беседе. Часовщик в качестве слушателя стоял у двери. Забыл свою работу, как бы окаменел на месте. Ему причиняли физическую боль вид этих наклоненных голов и эти близкие к бреду излияния номера 13.

— Ты не бойся, товарищ! — ободрял номер 13, смотря в глаза юноше. — Смерть — простая и до мелочей понятная вещь, над которой нужно смеяться. Появление жизни трудно постижимо, но смерть — до бесстыдства примитивна и логична. Против убийства восстают у нас все чувства. Рассудочное убивание — это ремесло низких и трусливых. Но убить в сражении, в битве погибнуть — это... очищает душу...

— Разве есть душа? — взволнованно спросил юноша, бывший от этого разговора как в горячке.

— Эх, братец, в этом-то и заключается трагедия... Есть две формы жизни: гниение и горение. Робкие и глупые предпочитают гнить и оставаться в живых, а мудрые и сильные горят, побеждают смерть, не цепляясь за жизнь! Кто не жалеет себя, кто горит, тот достоин считаться живым человеком, с душой, о которой ты спрашиваешь. Не имеют души, не имеют жизни трусы. Это живые трупы, как говорит Толстой. Чем больше боится человек, тем более он бездушен и мертв, тем меньше способен он сделать, тем ничтожнее его пресмыкающееся существование. В этом трагика жизни. Я на себе это испытал. Я уже неоднократно бывал мертв. Поэтому я часто боюсь. Я часто презираю свое прошлое и то, что делал. Если мне не удастся

честно умереть, то это будет достойным наказанием за мои подлости... Ты — чище меня, браток! Ты не участвовал в революции в качестве мясника, не унижался до торгашества классовыми интересами. Поэтому для тебя легче и жизнь и смерть. Только не бойся, дружок, — дерзай! Крепи в себе волю к победе. Без этого, без дерзания, наше движение было бы напрасным, мертвым трудом. Все бешеные идеи, смелые требования, непокорные мысли должны найти место там, где жизнью завладели разлагающиеся животные трупы...

Оба они были без остатка поглощены этим разговором. Головы их склонялись еще ближе и хозяину дома казалось, что эти два человека, несмотря на разницу в возрасте и прочие крупные различия, почти одинаковы. Какая-то неуловимая близость наложила на их лица печать родства.

3

Вечером жена часовщика принесла свежие газеты. Крикливые статьи под сенсационными заголовками трубили на все лады о кровавой попытке насильственного переворота. Мятежники, сговорившись, захватили важнейшие правительственные учреждения, но отовсюду были выбиты войсками. Убитых мятежников убирали с улиц, живых ловили по домам.

Страна была объявлена на военном положении. По войсковым частям разослали приказ создать полевые суды, которые судили бы бунтовщиков. Официальные сообщения правительственной прессы, сухие и лаконические, говорили только о суровых приговорах и тяжести преступлений подсудимых, замалчивая имена и число расстрелянных. Их могли быть десятки, могли быть и многие сотни.

Косили безропотное человеческое мясо, которое валилось в безымянные могилы без борьбы и сопротивления. Официальное мнение с удовлетворением отмечало суровость репрессий и требовало полного уничтожения мятежного духа в стране. По ночам расстреливали за городом, среди песчаных бугров, днем — у стен казарменных плацов. Бесчувственная земля стала пиявкой, сосущей кровь.

Гости часового мастера, взволнованные и встревоженные до последней степени, нетерпеливо и жадно глотали каждую газетную строчку. Снова и снова перечитывали, находя добавочные детали, случайно брошенные замечания и фразы, оставшиеся раньше незамеченными, которые служили лишним подтверждением серьезности положения. Они узнали о нескольких раскрытых конспиративных квартирах, о множестве знакомых лиц, которых, вероятно, уже нельзя было причислять к живым.

Сам часовщик только догадывался об огромном и кровавом столкновении, не представляя себе подробностей. Он не мог читать. Из прыгавшего перед его глазами текста он схватывал только отдельные фразы, заголовки и некоторые путаные строчки. Его сковало дикое, непреодолимое отчаяние.

С трудом глотая воздух, с искаженным от ужаса лицом тыкал он пальцем в газету и повторял растерянно:

— Как это возможно? Разве так делают? Разве это допускается?!

— Все, что делается, возможно и допускается, — ответил номер 13.

— Ведь это же бесчеловечно, зверски... убивать людей! Разве нельзя им запретить... — причитал мастер.

Номер 13 схватил его за руку.

— Товарищ Ласточка, замолчи, наконец!—закричал он злобно.— Что ты—единственный кусок золота, который не должен тонуть?! Несчастье других несколько не меньше. Все молчат.

Однако, потерявший голову часовщик уже не мог остановиться.

— Против этого нужно протестовать. Надо им помешать. Грубое насилие. Непростительное, дикое преступление. Палачи! — кричал он в истерике.

— Дурак! — определил номер 13. Его ноздри вздрагивали и тонкие бескровные губы исказились брезгливой гримасой. Он насильно принудил кричащего замолчать и посадил его на стул.

— Человек не должен сходить с ума, терять самообращение. Слюнтяй этакий! Из-за таких слизней и проваливаются все предприятия. Всех их, подлецов, защищай, да привлекай к делу. Несчастные человечки! Как только не повезло, ударяются в панику, разбегаются по углам. Ни один не способен выступить вперед, как истинный боец. Из-за угла они бы смотрели, рассуждали да поправляли, а потом бы вышли, как пророки, заранее предсказавшие неудачу. Нет, ты сам под огонь ступай.

Часовщик плохо слышал всю эту брань. Он мучился от своих мыслей, от одной назойливой, кричащей идеи. Судорожно уцепился за рукав другого, как бы взывая о помощи и влагая все напряжение своей воли в один вопрос:

— Неужели, товарищ, никакое посредничество, никакой протест не поможет? Ведь нужно спасти погибающих.

— Против кого ты будешь протестовать, как ты будешь протестовать? — Номер 13 досадливо махнул рукой. — Ну, попоробуй-ка протестовать. Пусть про-

тестуют те, кто вне опасности. Так... для успокоения совести, чтобы руки умыть... если это ничего не стоит.

— В цивилизованном мире не должно быть таких зверств! — сокрушался часовщик.

На это номер 13 с иронией и глухо, словно из-за закрытой двери, ответил:

— Ну, разумеется! Подумать только, какие открытия «в цивилизованном мире»! Верно, товарищ мастер у социалистов и баптистов научился сердобольности и евангельской кротости! — Не доставало, чтобы он рассмеялся, — таким тоном было это сказано. — Эти добряки плачут и обмякают очень примерно. У них ведь все «протестуют» по призванию. Но только товарищ мастер, вероятно, слышал, как у сопротивляющихся режут горло и выпускают внутренности. Да и мы сработали бы не хуже. Пусть бы только эти щенки попались нам в руки! Посмотрели бы тогда, сколько весит их протест!

Хозяин долго не говорил ничего. Молчали. Только из кухни доносились всхлипывания и вздохи хозяйки. Тогда Ласточка снова начал осторожным шопотом, таинственно, как бы затрагивая большую святыню:

— Но... как же с этим... Мы все ждали, что русские товарищи нам помогут. Для этого так немного нужно... Только пару красноармейских полков к границе и они бы пикнуть не смели. Вы понимаете... Не то, что сопротивляться, — не смели бы пикнуть!...

— Ну, пошла опять старая волынка, — с досадой вздохнул номер 13 и, повременив немного, отрубил: — Россия должна спасти их! А кто спас русского пролетария? Кто за него проливал кровь? Теперь все надеются на советский союз. Пусть он спасет эстонских ласточек. Пусть освободит Германию, Францию, Америку! Пусть воюет и с Востоком и с Западом, да еще

остаётся при этом целым, сытым, богатым и примером для остальных! Боже мой, какими важными и драгоценными вы себя считаете, господа! Русский пролетарий больше ничего не делай, как учи ласточек летать!

— Помощи, значит, нет и надеяться не на что?...

Номер 13 повернулся к нему спиной.

— Хватит!

Но он не мог кончить на этом: не вытерпел и снова резко обернулся к Ласточке. Надеялся, может быть, переубедить товарища.

— Все эти разговоры о помощи — просто аморальны! — с расстановкой произнес он. — Прежде всего — каждый помогай сам себе. Коммунизм нельзя надеть на голову вместе со шляпой. Это не орден, который из дружбы продевают в петлицу мундира. Огнем и кровью борются за свободу. Тогда имеет она цену и смысл.

Часовщик безнадежно покачал головой.

— Погибли, погибли мы... — повторял он. — Если так, то не надо было вовсе начинать. Пропали теперь. Одними своими силами ничего не сделать. Безрассудное кровопускание и гибель. Пропали...

— Так, действительно, никогда не победить, — с горечью согласился номер 13, — если каждый будет думать о спасении своей шкуры и болтать о цивилизации и человечности. Где были пролетарии позавчера утром? Ласточки занимались своими винтиками да часиками. Некоторые чинили башмаки да варили кашу. Да пойми ты, товарищ Ласточка, что не только твою часовую мастерскую разнесут в щепы, когда пролетариат утвердит свою диктатуру. Придется разрушить все учреждения, все механизмы, всю систему, обслуживающую современный строй. Для этого

нужна организация, железная, боевая, способная вывести массы на улицу и состоящая не из бескрылых ласточек, для которых курица — идеал неустрашимости, а лучшей соловьиной песнью являются сладкие речи социалистов о солидарности классов. Ты и тебе подобные ждуть помощи. Вместо того, чтобы разломать замки своих кандалов, вы ждете ключников, которые отомкнут их. Каждый день должна кипеть битва, каждый день должен быть днем сражения. Не победим сегодня, так завтра, послезавтра. Отступлений, сомнений не может быть!

— Потонем... не переплывем через потоки крови...
— Гм... крови! Опять со своей жалостливостью! Просто тебе не нравится кровь. Но маслом уже мазали достаточно — не помогает. Колеса исторической колесницы не хотят вертеться на дегтярной мази; они движутся по ступицу в крови во время прокладки новых путей. Наше восстание было маленьким эпизодом. Парижская коммуна — тоже эпизод. Новое возмущение — опять эпизод. Но когда этих эпизодов нельзя будет счесть, когда они станут системой, тогда это не будут эпизоды.

Номер 13 стоял посредине комнаты. Он забыл все окружающее и спешил высказаться. Впал в экстаз, бесильный схватить и малую долю тех мыслей, которые клочкотали в мозгу. Не часовщику говорил он, не к личности взывал, а к тысячной массе. Он опьянел от присутствия воображаемой аудитории. Говорил миллионам, десяткам миллионов, раскиданным по земному шару.

Вдруг влетела в комнату супруга часовщика. Почти онемевшая от испуга и ужаса, она едва сумела рассказать, что под кухонным окном люди. Сам мастер тоже вскочил на ноги, вообразив, что слышит топот бегу-

щих ног. Номер 13 схватился за револьвер. Младший сделал то же. Вслушивались, затаив дыхание.

На наружную дверь сыпались энергичные удары.

— Кто там? Кто? — завопил в беспамятстве хозяин, выбежав в переднюю.

Номер 13 схватил его за ворот и отбросил в сторону. Пошел сам.

— Кто там стучит? — спросил он трезво и деловито.

— Отвори! Скорее отвори, мастер!

— Что вам нужно?

— С обыском. Ну, живее! Не задерживай!

— Трах-тара-рах! — разрядил номер 13 свой парабеллум в дверь. Послышались ругательства и беготня. Кто-то стонал у самого крыльца. Молодой в это время стрелял через окно во двор.

— Собраться, живо! — приказал номер 13.

Через две секунды они уже были одеты и, нахлобучив шапки, вылетели во двор: старший впереди, младший за ним. В беспросветной тьме здесь и там вспыхивали огоньки. Очевидно, дом был оцеплен и по его обитателям открыта стрельба. Последние отвечали выстрелами, но принуждены были отступить.

Номер 13 споткнулся о что-то мягкое, как бы нарочно положенное под ноги. Это было тело какого-нибудь солдата, полицейского или «защитника отечества». Противное и теплое еще.

— Чортова кукла! — выругался номер 13 и, не поднимаясь на ноги, пополз на четвереньках в кухню. Лежал на полу, плотно прижимаясь к стене. Голову и правую руку с револьвером высовывал из-за косяка.

Огонь осаждающих был сосредоточен на кухонное крыльцо, но пули перелетали через лежащего. Освоившись с темнотой, номер 13 увидел сажень в десяти

от дома несколько темных фигур, похожих на людей. Если это действительно были люди, то поступали они, как идиоты: плотной кучей стояли во весь рост.

Номер 13 сменил обойму, твердо уперся рукой в дверной порог и прицеливался долго, сосредоточенно, напряженно, а затем послал несколько зарядов один за другим. Результат оказался поразительным. Людские скопления рассеялись и исчезли. Ответная стрельба совсем прекратилась. Лежащий еще больше высунулся вперед. Хотел уже снова бежать во двор, как вдруг около его уха пуля оторвала от косяка щепку: за ним следили и увидели.

Один прыжок, и номер 13 был в комнате. Там на полу извивался часовщик, обезумевший от страха. Жена его бегала по комнате и вопила. Юноша стоял у окна на коленях, просунув винтовочный ствол сквозь разбитые стекла. Дышал учащенно, с натугой, словно много и долго бежал. Выпускал заряд за зарядом.

— Огонь погасить, дьяволы! — закричал номер 13. Рванул рукой за ножку стола и опрокинул его вместе с лампой на пол. Звон разбивающегося стекла, шипение, чад, полная темнота. Жуткое предчувствие гибели, мрачное отчаяние наполнили комнату и овладели присутствующими.

— Ох, господи, господи! причитала женщина. Ее самоё не было видно, даже нельзя было понять, где она, но вопли ее удручали всех.

— Лечь на пол! — скомандовал номер 13. — Заткни глотку, баба! Лезь на печку в угол и лежи. Только не вой!

Между тем осаждающие восстановили цепь. Стреляли со всех сторон и пули пронизывали стены. Номер 13 возложил на младшего сотоварища защиту задней части дома из окна спальни, а сам утвердился

в передней и осуществлял ответный огонь через окно и кухонную дверь.

— Ради бога, патронов не трать!—неоднократно доносился юноше его умоляюще-повелительный голос. — Стреляй лишь только когда подходят близко, или когда увидишь кого-нибудь. Береги патроны, товарищ! Береги патроны! Последней пули не расходуи! Он осмотрительно продвигался к разбитому окну. Смотрел пристально, но ничего не мог увидеть. Один раз как будто пробежал человек, но это мог быть и обман напряженного зрения. Потом на четвереньках пополз на кухню. Там ветер хлопал раскрытою дверью. Было морозно, как и на улице. Стрельбы не было слышно. Снова выглянул из-за косяка на двор, желая определить местонахождение нападающих. Вдруг оттуда крикнули:

— Эй, сумасшедшие, сдавайтесь! Вылезайте все! Мы вас убивать не станем.

На пустыре против дома виднелась темная куча: щебень или земля. Оттуда, должно быть, доносился голос. Неожиданно из-за бугра поднялся человек. Номер 13 открыл по нему огонь. В ответ поднялась ружейная трескотня, продолжавшаяся несколько минут. Нападающих было по крайней мере дюжины полторы.

В комнате попадали некоторые вещи. Возможно, что пули разбили трюмо, возможно, что хозяйка опрокинула что-нибудь. Когда снова наступила тишина, какие-то часы стали отбивать время. Это звучало до того бессмысленно и зловеще, что сердце судорожно сжималось при каждом ударе.

— Похоронный звон... — произнес юноша среди общего сдавленного молчания. Жена часовщика снова дико завопила. Человек так не кричит, так ревет зверь

в животном ужасе. Она, верно, окончательно лишилась рассудка и больше не умолкала. Надрывно тянула свои воюющие ноты, вылетающие из самого горла, то похожие на рев сирены, то словно из могилы идущие жалобы заживо погребенного.

Номер 13, который во время перестрелки лежал в кухне на полу и только редкими выстрелами отвечал на огонь атакующих, решил вернуться в комнату, чтобы унять истерику. Но не успел он переползти через порог, как женщина налетела на него, нанося ногами удары, и, несмотря на попытку номера 13 остановить ее, вырвалась во двор.

-- Не стреляйте! Не стреляйте! — кричала она. Но в ответ на ее крики послышались выстрелы и женщина замолчала на полуслове.

— Готово... — подумал боец.

— Разбойники, душегубы, мерзавцы! — завыл в свою очередь часовщик. — Уходите! Ради создателя уходите отсюда!

Он елозил по полу, умоляя стрелков покинуть дом. Наткнулся на ноги номера 13 и обвинил их своими конечностями, как плющ. Не отпускал, несмотря на удары. Ругался, кусал захваченную ногу, стонал, задыхаясь. Бился в агонии смертельного ужаса. Номер 13 топтал его ногами, бил. Пытался оторвать от себя помещанного человека, ставшего теперь его смертельным врагом. От его судорожных объятий нужно было освободиться во что бы то ни стало: иначе гибель. Но часовщик, словно пиявка, всосался в ненавистную ногу. Тогда номер 13 наклонился и спустил курок револьвера.

Руки Ласточки, словно лапы лягушки, разъехались врозь. Все же он свалился не сразу, а пополз куда-то. Номер 13 не видел его. Слышал только, как он хлюпал

и свистел, дергаясь в судорогах членами, словно большая искусственная черепаха, механические части которой плохо сколочены. Так дополз он до двери, где попытался приподняться, цепляясь за косяк. — Убил, что ли? — спросил юноша. — Не знаю, — был ответ. Теперь они избавились от помех. Осаждающие некоторое время тоже не давали о себе знать. Оба бойца использовали эту передышку для укрепления позиций. Стащили с кровати супругов матрацы и подушки на пол, к окну. Навалили мебель в кучу, забаррикадировавшись на случай новой атаки. Патроны были наполовину израсходованы. Так как осаждающие все еще медлили, стали строить план прорыва фронта.

— До рассвета оставаться здесь нельзя, — соображал старший. — Попробуем осторожно прокрасться на улицу, а там ударим в одном направлении напролом. Будем бежать все вперед и вперед, наудачу. Один чорт теперь.

Но их план остался невыполнимым. Точно угадывая мысли осажденных, со стороны вокзала заговорил пулемет. Расчетливо и безошибочно делал он свое дело, с расстановками и паузами направлял каждую пулю из своей ленты в цель. В помощь пулемету ружья давали залпы.

Номер 13 попробовал ответить. Для этого он воспользовался наследством товарища Ласточки — винтовкой. Но иссякли патроны. Остался револьвер.

— Теперь будь, что будет! Идем, товарищ! — крикнул он.

Пулемет временно стих.

Н-не могу-у... ранили, — донесся из спальни слабый и тоскливый ответ.

Тогда задрожали пол и потолок, будто готовые рухнуть. Бешеный порыв бури трепал и тряс строение. Номер 13 почувствовал, что он сброшен на пол. Летел, но продолжал стискивать рукой револьвер. Ударился головой и плечом о стену. В ушах — могильная тишина, в глазах — мрак. Бомба! — мелькнула догадка. Удушающая злоба, схватив за горло, стиснула грудь. Он хотел встать на ноги, но снова свалился. Хотел приподняться на локте — не мог. Был в силах только хрипеть и захлебываться чем-то теплым. С огромным трудом поднялась правая рука. Нечеловеческим напряжением воли поворачивал голову и вытягивал шею, пока дуло револьвера не попало в зубы.

Тогда истратил еще один заряд — последний в своей жизни.

К. ТРЕЙН

С Л А Н Е Ц

Первые рассказы К. Трейна напечатаны в журнале «Резец» в 1927 г.

К. Трейн работает в эстонской секции Ленинградской АПП, пишет на русском языке.

616-07

Показались плоские бараки. Из кустов вынырнул маленький паровоз, завыл пронзительно и пополз, громыхая и лязгая железом, в гору. За паровозом тянулись такие же маленькие платформы, наполненные темным сланцем.

Ян быстро шел к баракам. Это были наспех сколоченные из досок строения. Длинные и узкие, они имели с обеих сторон по одному окну и двери на противоположных концах.

Они теснились кучками, почти приросшие друг к другу, подобно грибам после теплых дождей.

Эти погруженные в дремоту здания внушали ему неприязнь и навевали грусть. Плоские и длинные, они казались гигантскими гробами великанов, заброшенными под редкие осины.

Ян остановился в нерешительности: не повернуть ли обратно? Однако, нащупав в кармане последние несколько марок, призадумался.

Он прислушивался к доносившемуся издали шуму. Гулкие удары, пыхтение машины, лязг железа и громкие голоса, смешиваясь и переплетаясь, напоминали шум прибоя. Затем вдруг расходились и четко выводили каждый свой отдельный напев.

Шум подействовал на Яна бодряще. Засунув руки в карманы, он медленной походкой двинулся навстречу звукам. Перейдя несколько пар рельс узкоколейной железной дороги, он долго глядел вслед ползшему в гору миниатюрному эшелону из паровозика-«кукушки» и таких же «кукушек»-платформ.

Затем земля разинула перед ним свою темную пасть и, ослабившись, показала сланцевую глотку.

Это был глубокий обрыв. Вертикальная каменная стена уходила вниз на десять саженей.

Ян остановился пораженный. Внизу копошились сотни людей.

Группа женщин хлопотала около вагонеток, которые казались выстроенными в ряд черепашками. Ян понял, что женщины нагружают лопатами сланец, но вся их работа показалась ему сверху смешной и необычной.

Ян сел на край обрыва и стал наблюдать за работой. Он видел, как мужчины ломami и кирками отковыривали небольшие глыбы красно-бурого сланца. Запряженные лошадьми вагонетки отвозили его по откосу вверх.

Линия узкоколейки шла вокруг копи. На полотне стояли платформы и маневрировал паровоз, выпускавший время-от-времени тонкую струю пара и издававший пронзительные свистки.

Мальчуганы направляли вагонетки на установленный возле полотна мостик, где двое рабочих опрокидывали их и содержимое сыпалось в ожидавшую внизу платформу.

Солнце уже садилось. Предзакатные лучи его окрашивали грязно-бурый сланец в кровавый цвет.

Наступил вечер, и люди прекратили работу. Собравшись кучками, они покурили, а потом тяжелой по-

ступью стали подниматься вверх по откосу. Каждый нес на себе свои инструменты.

Ян тоже поднялся и направился им навстречу.

Рабочие проходили мимо него молча и не обращая внимания на его приветствие.

Тогда взгляд его упал на изможденного человека, который устало ковылял вслед за другими.

— Добрый вечер! — сказал он.

— Вечер, — как бы нехотя ответил тот.

— Не можете ли вы мне сказать...— начал Ян и зашагал с ним рядом, видя, что тот останавливаться не намерен.

— Не могу! — перебил его рабочий. — Идите в контору.

— Мне нужна работа, — продолжал Ян.

Но ответа не последовало. Спутник только сопел и продолжал итти.

Видя, что ничего не добьется, Ян замедлил шаг и уселся на придорожный камень, решив дожидаться кого-нибудь из конторы.

Однако, оказалось, что все уже прошли. Кругом стояла тишина и раздавалось лишь пыхтенье маленького паровоза за кустами. Клубы выпускаемого им пара медленно таяли.

— Ты чего тут прохлаждаешься?.. — услышал он вдруг грубый окрик за собой.

Ян обернулся. Перед ним стоял здоровенный краснощекий детина с черной бородой. Револьвер, выглядывавший из подвешенной к поясу кобуры, свидетельствовал, что перед ним сторож.

— Что тебе здесь надо, молодой человек? — спросил сторож.

В его произношении было нечто своеобразное, и это сразу привлекло внимание Яна. «Должно быть

русский», — подумал он и, поднявшись с камня, сказал:

— Я ищу работы.

— Это в конторе, а не здесь! — проворчал сторож. — Здесь — копи.

— В таком случае укажите мне, где контора. Я не знаю.

— Контора там! — ткнул сторож пальцем на тропинку, поднимавшуюся в гору.

Поблагодарив, Ян направился по указанному пути, но по дороге обернулся и, видя, что сторож глядит ему вслед, спросил:

— Как там у вас — принимают?

— Не могу сказать, молодой человек, не могу сказать!

— Однако, и нелюбезны же вы! — заметил Ян, усмехнувшись.

— Налюбезничаешься тут с вами!. Много вас тут шляется, — так и гляди в оба, как бы колесо не утащили, а то и целую вагонетку.

Ничего не ответив, Ян двинулся дальше. Не рассчитывал он на столь неласковый прием. И рабочие казались здесь совершенно иными, чем в городе. Там они всегда были не прочь поболтать и перекинуться шуточкой, а здесь из них слова нельзя было вытянуть.

Впереди показалось строение. Подойдя ближе, Ян увидел, что своим внешним видом оно напоминает бараки, но выстроено из бревен и имеет несколько окон. Над дверью красовалась вывеска с надписью:

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СЛАНЦЕВЫЕ КОПИ

Контора № 3.

Дверь оказалась запертой, и Ян легонько постучал. Когда никто не ответил, он постучал погромче, а затем, потеряв терпение, принялся барабанить изо всей силы. Из-за угла появилась женщина, вышедшая, очевидно, через другую дверь.

— Чего вы беситесь? — крикнула она. — В конторе никого нет!

— Простите! — сказал Ян, направляясь к ней. — Мне нужно поговорить с кем-нибудь из конторы. Я ищу работы.

— Сегодня вы никого не найдете. Приходите завтра утром, — здесь будет управляющий.

— Тогда скажите, где бы я мог переночевать.

— Вы можете идти в бараки, — там и переночуете.

Ян повернул обратно и, спустившись вниз, вошел в открытую настежь дверь первого попавшегося барака.

Против порога разлеглась огромная плоская плита.

Плита была сплошь уставлена котелками и сковородками, дышавшими клубами пара и распространявшими вкусный запах жареного мяса. Вокруг плиты толпились люди с покрасневшими от жары лицами. Это были мужчины и женщины с одним общим знаком: все они были молоды.

— Добрый вечер! — сказал Ян и, обращаясь к ближайшей девушке, продолжал:

— Не можете ли вы сказать, где мне переночевать? Я поступаю сюда на работу. Какая-то женщина около конторы направила меня в бараки.

— А ты один или с женой? — спросила девушка.

Неожиданный вопрос рассмешил Яна.

— Один, милая, один!

— Ну, в таком случае можешь остаться здесь. Это — холостяцкий барак.

Ян осмотрелся. В двух шагах от плиты возвышалась досчатая перегородка, разделявшая все помещение на две половины. Сообщаться между ними можно было, только проходя мимо плиты. Подойдя к невысокой перегородке, Ян, к немалому своему удивлению, увидел, что по правую сторону ее помещались одни только парни, а по левую — девушки. В других условиях он нашел бы подобное распределение помещения в порядке вещей, но здесь оно почему-то показалось ему странным. Неужели нельзя было разместить парней и девушек по отдельным баракам?

Он обошел вокруг плиты и, усевшись на нарах мужской половины, которые тянулись вдоль перегородки, стал молча наблюдать за происходившим в комнате. Никто не обращал на него внимания.

Парни оживленно гугорили о чем-то, а из-за перегородки доносился усталый смех девушек.

— А вещи твои где? — раздался возле него голос. Он поднял глаза и увидел девушку, которая не улыбаясь и по-мужски смело смотрела ему в глаза.

— Все на мне, — сказал Ян.

— Вот как! А есть хочется?

Ян едва удержал готовый сорваться с губ восторженный крик.

— Н-не... — протянул он, но тут же спохватился, что девушка не повторит своего приглашения и чисто-сердечно сознался: — Да, очень хочется.

Она улыбнулась одними губами, при чем глаза ее продолжали оставаться серьезными.

— Пойдем со мной.

Он поднялся и последовал за ней.

Накормив его горячей картошкой, она спросила:

— А спать-то ты как будешь, — у тебя, видно, нет и одеяла?

— Я не из прихотливых, — ответил Ян. — Заберусь на нары и просплю до утра.

— Это не годится, — сказала она и, подумав немного крикнула:

— Лена, а, Лена! Возьми-ка этого новичка к себе.

На скамье у окна сидела другая девушка. Она смотрела на темневший за окном лес. Неожиданный оклик товарки заставил ее оглянуться.

Она быстро поднялась и направилась к той, бросив мимоходом быстрый взгляд на Яна, сильно смутивший последнего.

— Нет, я уж лучше так... — указал он на широкие досчатые нары. — На мужской половине...

— Да они же по несколько человек одним одеялом накрываются! — возразила Лена.

Пошептавшись немного, девушки подсели к Яну.

— Как твоя фамилия? — спросила первая.

— Пелльюсерв, Ян Пелльюсерв.

Они переглянулись.

— Меня зовут Сальме, — сказала первая, — а ее Лена. — И без всякого перехода добавила:

— Ложись, но, смотри, без глупостей!

Ян укладывался рядом с Леной.

— Ты откуда явился? — спросила она.

— Из города.

— Здесь все из городов, — этим нас не удивишь!

— Из Везенберга. А как ты думаешь, могу я поступить на разработки? Нужны здесь рабочие?

— Нужны, наверно, нужны. — Больше она ничего не сказала. Работницы засыпают быстро.

II

Ян долго не мог уснуть. Сделав за день по сильной жаре сорок верст с лишним, он испытывал здоровую

усталость. Он чувствовал, как кровь переливалась в жилах, погружая тело во что-то сладкое и свинцовое. Однако, сон не шел. Необычным и странным казалось ему виденное за этот день: эти копи и бараки, эти рабочие и девушки. Бывают же на свете такие чудачки: разговаривать с тобой не желают, даже на приветствия не отвечают, а девушки укладывают спать рядом с собой незнакомого человека!

Затем мысли его приняли иное направление, — он думал о завтрашнем дне: примут ли его на работу, или скажут, что работы нет, как говорили уже во многих местах. Но нет, этого не могло быть. Он был уверен, что его примут. Он слышал, что в копиях «горючего камня» всем хватает работы.

Разбудила его Лена, толкнув локтем в бок.

— Эй, новичок, вставай! Пора...

Ян с трудом открыл слипавшиеся глаза. Страшно хотелось спать.

Всходило летнее солнце и врывалось в окно целыми потоками света, отражаясь на противоположной стене ярким желтовато-красным четырехугольником.

— Пора вставать! — сказала опять Лена, заплетая свои жидкие косы.

Яну вспомнилось вчерашнее. Он посмотрел на быстро мелькавшие пальцы Лены. Взор его скользнул по рукам вниз и остановился на круглых девичьих плечах.

Лена была в одном белье, и узкие, помятые лямки рубашки не покрывали наготу плеч. Шея, плечи и руки девушки были покрыты здоровым загаром, действовавшим на Яна притягивающе. Он с истинным удоволь-

ствием следил за движениями гибких рук, наблюдая, как под загаром играют сильные, не девичьи мускулы.

Он впервые рассмотрел лицо Лены. Это было лицо самой обыкновенной девушки, какие встречаются везде и всегда. Несколько разочарованный открытием, Ян принялся искать в чертах ее что-нибудь необычное, способное выделиться среди окружающих. Он смотрел долго и пристально, но ничего нового не открыл. Нос был небольшой, заостренный, слегка вздернутый, подбородок круглый, даже слишком круглый, губы плотно сжатые, и это придавало лицу несколько окаменелое выражение. От ноздрей к углам губ спускались две тоненькие, едва различимые черточки. Это были детские морщинки, но Яну показалось, что они могут быстро стать старушечьими.

Ян почувствовал, как его настроение падает.

Ему хотелось заглянуть девушке в глаза, но они были полузакрыты и смотрели куда-то в сторону. И вдруг им овладело желание, чтобы девушка посмотрела на него.

— Лена! — позвал он негромко.

Не поворачивая головы, она безразлично спросила:

— Что?

— Ладно, ничего! — Порывисто поднявшись, он быстро оделся и направился к выходу, но в дверях столкнулся с Сальме.

— Доброе утро! — сказал он.

— Здравствуй! — ответила девушка. — Умываться ступай на реку! Она совсем близко, внизу.

Сальме была выше Лены, но такая же светловолосая, как и та.

Ян пустился бегом к реке.

Умывшись, Ян почувствовал себя бодрее и вернулся к баракам в отличном настроении. Некоторые девушки

чистили и мыли свои котелки. Усталость после дневного труда, повидимому, заставляла работниц заниматься своим хозяйством по утрам.

Заметив среди девушек Лену, Ян остановился перед ней и, нагнувшись, забарабанил пальцами по дну котелка, напевая:

Мышь прыгала,
Ногами дрыгала,
Медведь бил в барабан...

Лена подняла на него глаза и не без неудовольствия проговорила:

— Брось дурачиться...

У Яна захватило дыхание. Да, теперь он видел, что это была та девушка, которую он безуспешно пытался сткрыть в ней.

Он уселся на корточки и заглянул в синюю глубину ее глаз.

— Лена, где твои глаза?

— Какие тебе еще глаза? — В голосе ее дрогнул смех.

— Неужели ты не знала, что у тебя нет глаз? Разве это глаза?..

— А что же это такое? — Девушка сделала недоумевающее лицо.

— Ведь это голуби, ей-ей!

Лена расхохоталась. Ян был рад, что заставил ее рассмеяться.

Когда все гурьбой направились к копи, Ян пошел вместе с другими.

Ему показали надзирателя — высокого, полного детину с военной выправкой. — Хоть он и «тибля», но с ним можно договориться, — сказали рабочие.

Ян подошел к надзирателю.

— У меня к вам просьба.

— Ну, что такое? — спросил тот, делая поворот на носках.

— Могу ли я найти работу в копи?

— А, работы ищешь?.. Так... — надзиратель повернулся и пошел вниз по откосу.

Ян с недоумением смотрел ему вслед. Что было делать теперь? Броситься за надзирателем и еще раз задать тот же вопрос? Или он сам вернется и даст ответ? Ян решил подождать.

Подошел сторож, указавший ему накануне дорогу к конторе.

— Э-э, батенька, не так надо разговаривать, — сказал он. — Полковник Горский такого обращения не любит. Он человек военный.

Слова сторожа заинтересовали Яна.

— Какой же он военный?

— Военный всегда остается военным, — продолжал сторож, и Ян снова уловил русский акцент в его произношении. Надзиратель тоже говорил с акцентом.

— Вы русский? — спросил Ян.

— Да, — вздохнув, сказал сторож. — Жили себе да поживали, а теперь тут служим.

— Эмигранты, значит? — продолжал расспрашивать Ян.

— Да, эмигранты... И господин полковник тоже... Хороший был командир, только немного лютоват...

— А как вы сюда попали?

— Да шли походом на Петроград, — теперь-то он у них Ленинградом называется, — и не выдержали... да... Помощи не получили своевременно... Ну, и забились сюда, словно клопы в щель... Куда пойдешь? Хозяйство разграбили... Да и какое у меня хозяйство! Вот у господина полковника — дело другое: поместья и в Московской, и во Владимирской, и в Харьковской губерниях. Вчуже сердце занает...

— Что же мне делать, чтобы поступить на работу? — спросил Ян, перебивая сторожа.

— Что тебе делать?.. Если хочешь, доложу о тебе г. полковнику, но сам знаешь, что даром это не делается! — развязно сказал сторож.

— А сколько тебе надо? У меня сейчас нет ни пенни...

— Пустой?.. Это плохо. Впрочем, можно за счет будущего. Будешь в течение шести месяцев отдавать мне ежемесячно недельный заработок.

— Много требуешь, старина! — сказал Ян. — Будет с тебя и двухдневного...

— Нет, батенька, не выгорит твое дело. Не один ведь я, — полковник тоже возьмет свою долю!

— Недельный заработок я отдавать не могу...

После долгого препирательства сошлись на четырехдневном заработке в течение пяти месяцев, и сторож поплелся к надзирателю, бормоча себе под нос что-то про тяжелые времена.

Провожая его взглядом, Ян видел, как сторож вытянулся перед надзирателем в струнку и по-солдатски поднес руку к козырьку. Затем повернулся и, подойдя к Яну, сказал:

— Ну, батенька, дело сделано! Можешь теперь сам говорить с господином полковником.

Ян направился к полковнику.

— Господин надзиратель! — сказал он, умышленно подчеркивая последнее слово. — Я хочу поступить к вам на работу.

— Иди в контору, — лаконически сказал тот и пошел прочь твердыми военными шагами. Это взорвало Яна.

— Господин надзиратель! — бросился он вдогонку. — Ведь я не переписчиком нанимаюсь, а в шахту!

Надзиратель повернулся, и черные глаза его буравами вонзились в Яна. Он потрогал свои холеные усы.

— Молодой человек!.. — сказал он, и в голосе его зазвучали металлические нотки. Акцент его от этого стал еще более заметен, и Ян вдруг понял, что ненавидит этот акцент.

— Молодой человек, я сказал тебе, чтобы ты шел в контору. Понимаешь? Я приду и отдам распоряжение.

«Молодой человек» направился в контору той же дорогой, что и накануне.

Через несколько часов пришел Горский.

— Ну-с, молодой человек, откуда пришли?

— Из Везенберга.

— Чем занимался раньше?

— Работал на канатной фабрике.

— Почему бросил работу?

— Фабрика закрылась.

— Так... Специальность?

— Подручный слесаря.

— Metallist, значит? Непокойный народ metallisty.

Ян ничего не сказал.

— А разве у вас на канатной фабрике работали metallisty?

— Нет. На канатной я пробыл недолго. Пришел туда из «Вольты».

— Это что за «Вольта» такая?

— Это завод в Ревеле.

— Ага... Ну, а где твои родители?

— Я сирота.

— Так... Инструменты есть?

— Нет.

— Вот тебе записка. Он вырвал из записной книжки лист и быстро написал что-то. Пойдешь в склад и полу-

чишь. Завтра станешь на работу. Но смотри — без прогулов!

Надзиратель поднялся, давая этим понять, что Ян может идти.

Ян направился к выходу.

— Да, вот что. Паспорт-то есть у тебя?

Ян достал из внутреннего кармана бумагу и подал надзирателю. Тот осмотрел ее, сложил и спрятал в карман.

— Твой паспорт останется у меня. Когда захочешь уйти, заявишь об этом за месяц вперед. Тогда и паспорт получишь.

Ян повернулся, но надзиратель снова остановил его.

— Сторож говорит, что ты задолжал ему и обещаешь платить четырехдневное жалованье в течение первых шести месяцев.

— Нет, пяти!

— Ты ошибаешься, — шести. Можешь идти.

III

На другой день Ян приступил к работе и сразу же убедился, что труд в коях «горючего камня» тяжел и изнурителен. Большинство рабочих пользовалось собственными инструментами. Кирки и ломы у них были удобные, не слишком тяжелые, и ими легко было разбивать сланец. Полученные же Яном из кладовой инструменты оказались неудобными. Кирка была тяжелой и такой длины, что нельзя было вложить в удар всей силы и полностью использовать напряжение мускулов. Она достигала камня раньше, чем он успевал придать ей необходимую скорость падения и силу удара. Рукоятка ее была такой толщины, что он едва был в состоянии обхватить ее пальцами. Руки быстро

утомлялись и кирка часто вылетала из них во время удара.

Сравнительно короткий лом тоже отличался непомерной толщиной и был так тяжел, что работа им требовала предельного напряжения всех сил.

Измучившись, Ян отбросил, наконец, лом в сторону и начал работать одной киркой.

Подобно дятлу, уцепившемуся за вертикальный ствол дерева и клювом долбящему кору, чтобы найти себе пропитание, примостился Ян на отвесном склоне обрыва и, неуклюже размахивая киркой, откалывал кусочки «горючего камня».

Он работал всего несколько часов, но ему казалось, что он уже работает целую вечность. Взглянув на солнце, он испугался: до обеда оставалось еще много времени.

Вокруг него работали люди, ожесточенно врывающиеся в каменную стену. Лица у них были такие же каменные, как эта стена. С крепко стиснутыми челюстями и лишенными всякого выражения глазами они упорно долбили камень, не роняя ни звука.

С того места, где работал Ян, сланец отвозился на тачках к «главной ветке». Главных веток было две и на каждой работала особая артель.

Ян поражался силой и ловкостью, с какими катали управляли своими громоздкими тачками. Нагрузив совместно с женщинами тачку доверху, они перекидывали лямку через плечо и толкали ее по узкой качающейся доске к «главной ветке». Ни разу не случилось, чтобы колесо тачки сходило с доски.

Поплевав на ладони, он снова схватился за кирку.

Видя это, работавший рядом с ним шахтер заговорил:

— Перестань плевать на ладони,—руки болеть будут.

— Никак не могу кирку удержать, — сказал Ян, обрадовавшись, что слышит человеческий голос.

Сосед посмотрел на его кирку.

— Действительно... с таким чурбаном не много наработаешь. Придется тебе собственной киркой обзаводиться. Да и бьешь ты не так. Если будешь бить прямо сверху вниз, то получится много пыли и мало толку. Сланец тянется пластами, и надо стараться ударять сбоку.

Ян последовал совету соседа и убедился, что сланец, действительно, поддается легче.

Когда, наконец, окончился мучительный день, Ян чувствовал себя настолько разбитым, что даже предстоящий отдых не радовал.

Возвращаясь вместе с другими рабочими к баракам, он понял, почему они не отвечали на его приветствие вечером в день его прибытия. Усталость была так велика, что даже рта открывать не хотелось.

Во время обеденного перерыва он съел только небольшой кусочек хлеба, который ему отломил от своего ломтя один из рабочих, и поэтому был невыносимо голоден.

Ужин от Сальме и Лены он принял, как должное. Поев, он даже не поблагодарил девушек и, свалившись на постель Лены, моментально заснул.

Утром Лене с трудом удалось разбудить его. В первую минуту он ничего не понимал и в ответ на слова девушки мычал что-то невнятное. Но она упорно продолжала будить его и добилась, наконец, того, что Ян открыл глаза.

— Что, устал? — участливо спросила она.

Яну стало стыдно, что он оказался слабее этих девушек.

— Нет, ничего, — пробормотал он и сел на постель, но тут же схватился рукой за спину, при чем лицо его перекопилось от боли.

— Кости болят? — опять спросила Лена. — Ничего, милый, это пройдет. Потерпи денек — другой.

— Ничего страшного нет: просто — не привык еще, — натянуто улыбнулся Ян.

— Это, конечно, от непривычки... Так со всеми бывает, но потом приспособляются.

Второй день оказался еще тяжелее.

Если накануне он хоть первый час мог проработать, не испытывая усталости, то сегодня уже к началу работы он чувствовал себя окончательно разбитым. Каждое движение причиняло боль и ему казалось, что у него вывихнуты все члены. Удар киркой отзывался острым уколом в спине. Ладони горели, — вчерашняя работа оставила на них следы в виде кровавых мозолей. Держать кирку в руках было невыносимо больно.

А солнце палило все беспощаднее. Отвесные стены копи не допускали в шахты ни дуновения ветерка. Было жарко, как в печке. Невыносимо хотелось пить.

Ян не бросил кирки только из стыда перед товарищами, продолжавшими работать с прежней молчаливой невозмутимостью.

Во время обеда Ян подсел к рабочему, обучавшему его накануне приемам работы.

— Каторжный труд... — попытался он завести разговор.

Тот ничего не ответил. Однако, желание отвести душу в беседе с товарищем было у Яна так сильно, что он, не смущаясь, продолжал:

— И подумать только, что за такой работой проходят недели, месяцы... даже годы... Просто оторопь берет.

Тогда сосед резко заговорил:

— Только не ной, пожалуйста! Здесь нужна выдержка, да и не только здесь. Чем поможет твое нытье?

Однако, тут же ему, повидимому, стало жалко товарища и он прибавил более мягко:

— Конечно, трудно, что и говорить...

Помолчав немного, он снова заговорил без всякой видимой последовательности:

— Меня зовут Михкель... Михкель Ялакас...

— А меня — Ян Пелльюсерв.

— Пелльюсерв? — оживился Ялакас. — Не было ли у тебя брата? Эта фамилия мне знакома!

— Ты, верно, слышал про моего отца. Года два тому назад он был предан суду по обвинению в принадлежности к коммунистической партии и расстрелян.

— Тс-сс! Об этом здесь разглагольствовать не следует: кто знает, чем это может кончиться. Лучше всего говорить, что ты никакого отношения к казненному Пелльюсерву не имеешь. А то... Не любят они... Пелльюсервов всяких...

Ян замолк. Он знал, что известную роль в его неудачах играла именно его фамилия, но никогда не предполагал, что она может помешать ему работать в копиях «горючего камня», где, по слухам, во всякое время мог найти работу любой вор и убийца. Тем не менее он решил быть впредь осторожнее.

Когда кончился обеденный перерыв, Ялакас сказал:

— Слыхал я, что ты с Ленкой спишь?

— Да, — несколько смутившись, ответил Ян. Ему было стыдно, что он спал с девушкой на глазах у всех.

— Что-ж, она девушка хорошая! Я ее знаю давно — еще до поступления на разработки. Ты ее не обижай... Отец ее тоже в тюрьме... с «майских дней» *). Обижать ее не следует...

IV

Ян стал постепенно привыкать к тяжелой работе и дни начали проходить быстрее. Усталость после работы уже не мешала его способности размышлять, а окружающее давало достаточно поводов для размышлений. Он видел, как девушки-работницы материнскими заботами старались облегчить участь не только его, но и других подобных ему бездомных бродяг.

Через несколько дней после его прихода на работу поступил еще один новичок. Девушки и его приютили на ночь и слышать не хотели его заявления о том, что он предпочитает тюфяку голые доски.

Новичок был старше Яна лет на десять. Это был высокий и худощавый человек. Угловатый подбородок и давно не бритые щеки придавали его лицу что-то свирепое, но в темных глазах светилась доброта.

Ян познакомился с ним в день его прихода и узнал, что его зовут Андрес Рейтель. Оказалось, что раньше он работал матросом, подвергся увольнению и решил переменить профессию.

— Захотелось побродить по разным богем забытым углам, — ответил он на вопрос Яна о том, что заставило его искать работы в сланцевых коях.

Пришелец понравился Яну, и он решил сойтись с ним поближе. Решению его способствовало сделанное им незначительное наблюдение: он убедился, что девушки принимали участие в новичках не без выбора.

*) 2-го и 3-го мая 1922 года производились аресты по всей Эстонии. 3-го мая — убийство Виктора Кингиссеп.

Они умели оценивать человека по достоинству. Однажды в копи появился незнакомый юноша с мечтательными глазами, и девушки, пошушукавшись между собой, сразу же стали держаться от него в стороне.

Все это чрезвычайно занимало Яна, но от расспросов он воздерживался. Эти девушки внушали ему глубокое чувство уважения. Убедившись, что Артур Лане внушает ему безотчетное чувство отвращения, он попытался поговорить на этот счет с Андресом Рейтелем, но тот только недоумевающе поднял плечи, так что вся голова ушла в них, а затем опустил их с тяжелым вздохом.

— Да, бывают в жизни противоречия, смысла которых не понимаешь.

Особенно памятным остался Яну вечер, когда ему в копи при работе отдало ногу, которая страшно распухла и невыносимо болела. Разыскав чистую тряпочку, Лена приложила к ушибленному месту холодный компресс, а затем, улегшись с ним рядом, провела рукой по его лицу с такой нежностью, словно хотела вложить в эту ласку весь огонь своего сердца.

— Ничего, Яник... Завтра нога пройдет. Смотри только — не делай ночью резких движений.

Им овладело какое-то странное чувство: захотелось сказать ей что-нибудь очень хорошее и так же провести рукой по ее щеке. Однако, он не решился и только сказал:

— Боюсь, что завтра она тоже будет болеть, и я не смогу выйти на работу.

— Нет, боль за ночь перестанет.

Издали доносился глухой гул взрывов, заставлявший дрожать стены барака. Ян знал: там взрывали динамитом верхушку отвесной сланцевой горы, чтобы она не обвалилась во время работы. Гулкие удары и непрекраща-

щавшийся поток мыслей не давали ему заснуть. Однако, утром оказалось, что нога, как и предсказала Лена, перестала болеть, и он вышел на работу, своевременно избавившись таким образом от грозившего ему штрафа.

Дни проходили чередой и Ян продолжал жить на иждивении девушек. Когда имевшиеся у них деньги иссякли, он отдал им последние несколько марок, оставшиеся у него.

Наконец, наступил день полочки. Хотя Ян проработал всего три недели, но оказалось, что имя его было внесено в раздаточный список.

Стоя в очереди, он принялся раздумывать о тяжелых, залитых горячим потом днях, которые пришлось провести на разработках, одновременно предвкушая радости будущих благ, которые он доставит себе на заработанные деньги.

Первым долгом он решил приобрести собственную кирку, хорошую и удобную кирку с рукояткой вдвое тоньше казенной. Следовало обзавестись также ломом, но он боялся, что нехватит денег: непременно нужно было расплатиться с девушками, так как ему хотелось и впредь столоваться у них.

Он был настолько погружен в свои мысли, что не замечал происходившего вокруг него. Многие рабочие, получив жалованье, были явно чем-то недовольны и, окружив надзирателя, требовали от него каких-то объяснений.

— Я ничего не знаю! — отмахивался надзиратель. — Нужно навести справки по книгам, сейчас ничего не могу сказать.

— Так наводите же справки, господин надзиратель, — продолжал кто-то настаивать. — А то, сами подумайте, за двадцать пять дней выдали...

— Я вам не мальчик на побегушках! — с раздражением перебил надзиратель говорившего. Когда он сердился, акцент его становился еще более заметным. — Уж не хотите ли вы, чтобы я бегал взад и вперед по вашей указке!

Ян стоял одним из последних в очереди и поэтому прошло немало времени, пока он, наконец, увидел блеснувшую за окошком лысину кассира.

— Пелльюсерв! — сказал он свою фамилию.

Кассир устал и, желая поскорее отделаться, сразу же убрал ведомость с распиской Яна, не дав ему разобраться в проставленных против его фамилии цифрах.

В руках Яна шуршали новенькие кредитные билеты. Он сосчитал их, и оказалось, что он получил ровно тысячу тридцать марок.

Обведя недоумевающим взглядом окружающих, он снова притиснулся к окошку.

— Господин кассир, вы, верно, ошиблись...

— Не мешайте работать, — следующий!.. — раздался голос кассира.

— Простите, — не унимался Ян. — Вы дали мне тысячу тридцать марок.

— Прошу не мешать! Следующий!

Но Ян решил добиться своего.

— Извините! Я работал три недели...

— Говорят вам — не мешайте! — оцетинился кассир.

Будучи уверен, что кассир ошибся, Ян продолжал упорно стоять на своем.

— Стоящие за мной охотно подождут, — сказал он... Но вы дали мне тысячу тридцать марок, а между тем я работаю уже три недели...

Упорство рабочего окончательно взорвало кассира. Схватив ведомость, он ткнул ею Яна в лицо.

— На, смотри, если ты не слепой! — крикнул он.

— Еще один из тех, что не дождались своевременной поддержки под Петроградом, — думал Ян и, бросив взгляд в ведомость, отошел: приходилось верить кассиру.

Он вышел, зажав кредитные билеты в руке. Все его мечты сразу рухнули. Ему предстояло продолжать работу той же казенной киркой, а об уплате долга девушкам нечего было и думать. А потом — дальше? Если он будет питаться одной картошкой, и то невозможно было прожить до следующей полочки.

Проходя мимо конторы, он столкнулся с шедшим навстречу ему сторожем.

— Здравствуй, молодой человек! — поздоровался тот.

Опять эта проклятая белая сволочь! — подумал Ян и со злорадством спросил:

— Расскажи-ка, старина, как это вас красные под Петроградом лупили.

К своим служебным обязанностям сторож относился ревностно, охраняя казенное добро пуще зеницы ока, он в свободное время не прочь был покалякать по душам.

— Правильное ты слово сказал, — именно лупили, — словоохотливо начал он. — Мы уже подошли к самому Петрограду... Оставалось только набить трубку и двинуться: смотришь, трубка еще не потухла, а ты уже у Нарвских ворот... Да, совсем близко стояли.

— Чего же вы назад повернули? Или не понравилось?

Сторож не заметил насмешки в вопросе. Он был рад поделиться с кем-нибудь воспоминаниями о былых подвигах.

— Куда там, — не подпустили коммунисты.

— Стало быть, коммунисты здорово дерутся?

— Что-ж, врать не буду... — Сторож задумался... — Но и мы маху не давали. Было как-раз за несколько дней до отступления. Мы захватили десяток новгородских курсантов, — это у них будущие краснозадые офицеры, — ну, и задали же им жару, любо-дорого! — Сторож захохотал.

— Что же вы с ними сделали?

— Что сделали? Двоих я собственными руками охолостил. Другие тоже пробовали, но ничего не выходило: получалось кровотечение и красные один за другим протягивали ноги. Мои же целых два дня прожили.

Дрожь пробежала по телу Яна. Ему хотелось крикнуть что-нибудь страшно оскорбительное, но нужное слово не приходило на ум. Не глядя на сторожа, он двинулся вперед, но тот остановил его.

— Никак тебя с первой получкой можно поздравить?

Ян вспомнил, что обязался уплатить сторожу четырехдневное жалованье. Этот человек стал ему невыносимо противен и хотелось поскорее отвязаться от него.

— Сколько тебе? — опросил он.

Под бородой сторожа зазмеилась усмешка.

— Да марок триста—четыреста следовало бы отвалить.

— Вот тебе двести, — хватит на сей раз, потом еще получишь. — Он был готов отдать этому белогвардейцу хоть все свои деньги, чтобы только не иметь с ним дела, но нужно было подумать о Лене и Сальме.

— Спасибо, спасибо! — поблагодарил сторож с довольной улыбкой. — Эстонцы хороший народ! Люблю эстонцев.

— Смотрите, как бы они вас в свою очередь не охолостили, — пробурчал Ян и пошел дальше.

В нем кипела бешеная злоба. Он никак не мог забыть что за три недели тяжелой, нечеловеческой работы, получил всего какую-то жалкую тысячу марок. Где-нибудь в другом месте он мог за это время получить втрое больше.

Поскорее бы убраться отсюда! Но куда? Он знал, что заводы всюду закрываются либо за недостатком сырья, либо за отсутствием сбыта. Где мог он рассчитывать найти работу? Горький опыт научил его осторожности, и в настоящее время он не был склонен к опрометчивым поступкам.

Выгнанные из своей страны, эти проклятые «тибли» собрались сюда и устроились на теплых местечках. Надзиратель, кассир, управляющий, кладовщик, сторож — негодный сор, выметенный за ненадобностью, ни к чему не способный и умеющий только сосать кровь таких рабочих, как он, измываться над народом, который кормит их.

Он завидовал коммунистам по ту сторону Наровы: эти-то сумели избавиться от мусора.

Но если русские оказались в состоянии освободиться от пиявок, неужели эстонцам это не под силу? Разве мало у них кряжистых парней с железными кулаками, готовых итти в бой за лучшее будущее? Он вспомнил Андреса Рейтеля, Михкеля Ялакаса, вспомнил Лену.

Да, эти люди будут драться, рука их не дрогнет накинуть мешок на надзирателя или кассира, завязать крепко-накрепко и бросить в реку.

Ян повернул к баракам. Ему хотелось побыть с кем-нибудь из своих друзей, чтобы поделиться волновавшими его мыслями.

Около входа в барак он увидел Ялакаса. Взяв его под-руку, Ян предложил ему пройтись немного по лесу.

Тот согласился. По дороге Ян начал говорить о том, как мало он получил за свою работу, да и не только он, но и другие. Он доказывал, что с ними поступили несправедливо, что они заработали гораздо больше, и предлагал придумать какие-либо меры, чтобы избавиться от «тиблей».

Ялакас долго ничего не говорил, пыхтя трубкой и посапывая, затем проворчал:

— И ты думаешь, что это так легко?

— Не думаю, чтобы это было легко, но трудностей мы не должны бояться. Последствия нашей боязни будут еще тяжелее.

— Ну, ладно. Допустим, утопишь надзирателя, утопишь кассира... вообще всех русских здесь. Но чего же ты думаешь этим добиться? Приедут новые, а тебя вздернут. Нет, если уж жертвовать жизнью, так чтобы от этого была польза.

— По крайней мере не будут нашу кровь сосать! — горячо перебил его Ян.

— Ну, я вижу, что твой отец был гораздо умнее тебя, парень, — сказал Ялакас. — Неужели ты думаешь, что все зло в том, что надзирателем здесь служит полковник Горский, а кладовщиком бывший каптенармус? Неужели ты никогда не говорил с отцом по этим вопросам?

— Нет, в то время я был еще мальчиком, а потом он жил в подполье и я его никогда не видал.

— Да ведь он был загнан в подполье. Так вот — дело не в надзирателях и кладовщиках. Видишь ли, кого ты ценишь больше всех здесь, кого ты считаешь достойным безусловного доверия?

— Лену, тебя и Рейтеля, — не задумываясь, ответил Ян.

— Ну, так представь себе, что государством стали бы управлять мы, — нет, не мы одни, а сотни подобных нам, сотни лучших женщин и мужчин. Разве ты думаешь, что они допустили бы такие безобразия на работах, как сейчас?

— Конечно, нет, — сказал Ян.

— Они изменили бы все это, потому что они сами знают, как трудно живется рабочему.

— Ну, то-то. А на сей раз довольно. Подумай хорошенько о том, что я сказал. Потом еще поговорим как-нибудь. Но, смотри, никому ни гу-гу о нашем разговоре. Тут не мало таких, что не прочь заработать предательством товарища.

— И с Рейтелем я не должен говорить? — спросил Ян.

— С ним можешь, но будь осторожен... Впрочем, ты все же наведи справки, за что у тебя так много вычли.

Ялакас повернул назад к баракам, а Ян направился к конторе. Раздача жалованья кончилась, и около конторы никого не было.

Войдя в контору, он увидел надзирателя и Артура Лане, которые сидели за столом друг против друга погруженные в дружескую беседу.

При появлении Яна они оборвали разговор и Лане поднялся.

— Надеюсь, вы убедились, молодой человек, что ваши жалобы на правление совершенно неосновательны.

— Да, — сказал Лане.

«Что-то вы хитрите»... — подумал Ян и в душе у него зашевелилось подозрение. Ему вспоминались слова

Ялакаса о людях, которые не прочь поживиться за счет предательства своего товарища.

Ян подошел к надзирателю.
— Можно навести справки, за что и сколько с меня удержали? — сказал он.

— Пожалуйста, сделай одолжение, — засуетился тот. — Ступай к счетоводу, он тебе все объяснит.

Оказалось, что с него удержали за квартиру, за кирку, за лом и даже за лопату, которой он совсем не брал из кладовой, потому что не нуждался в ней.

Когда он указал на это счетоводу, тот сказал:

— Нашими правилами предусмотрено, что рабочие, явившиеся без своего инструмента, получают казенные, и не наше дело, возьмут ли они полный комплект, либо только часть, или совсем не возьмут. Мы удерживаем со всех одинаково.

Дальше выяснилось, что с Яна удержали числящийся за ним долг.

— Какой же долг? — спросил он.

Счетовод сунулся в книги.

— Долг сторожу Ивану Никитичу, — сказал он.

V

Утром следующего дня разыгралась сцена, поразившая всех рабочих.

Работа только-что началась, когда рабочие увидели проходившего мимо сторожа. В этот момент показался Ян; как разъяренный бык, размахивая киркой, бросился он на проходившего.

— Давай сюда деньги, отдай мои деньги! — крикнул он.

— Какие тебе деньги? — опешил тот и сделал шаг назад.

— Отдай мои двести марок, которые ты у меня вчера выманил! — кричал Ян, продолжая наседавать на сторожа.

Тот оглянулся во все стороны, как будто ища места, куда спрятаться.

— Послушай, — я тебя не понимаю! — сказал он.

— Нет, врешь, понимаешь! Отдай мои двести марок или я разможу тебе голову.

В словах Яна было нечто, что заставило сторожа ощупать висевший за поясом револьвер.

— Перестань кричать и расскажи толком, что тебе надо, — сказал он примирительно, но при этом незаметно расстегнул кобуру револьвера.

Ян не заметил его движения.

— Я тебе покажу толк! Ну-ка, выкладывай мои деньги, а то, клянусь, не сойти тебе с этого места. И он закрутил киркой над головой.

За спиной сторожа выросла Лена. Она видела, как сторож дрожащими пальцами стиснул револьвер, готовый выхватить его в любой момент. У нее помутилось в глазах.

— Брось, Ян! — раздался голос Ялакаса. — Ты с ума сошел!

Но тот не расслышал окрика.

— Я буду считать до десяти, а ты в это время подумай, что лучше: отдать ли мне деньги, или в последний раз помолиться своему грязному богу. Раз... два... три...

— Господи, благослови! — крикнул сторож и выхватил револьвер.

Лена дико вскрикнула и бросилась к сторожу. Она уцепилась за его руку и оттолкнула его с такой силой, что сторож споткнулся о куски сланца и еле удержался на ногах.

— Сумасшедший! — крикнула она Яну. — Ступай сейчас же на работу!

Тот молча повинился.

— Берегись, молокосос, и не попадайся мне вторично! — прохрипел сторож, потрясая кулаком вслед Яну.

Тот не проронил ни звука.

— Ну, и дурак же ты! — сказал ему Ялакас. — Отъявленный дурак!

Ян молчал. Его гнев улетучился, и ему было стыдно своей вспышки.

После этого случая рабочие стали присматриваться к Яну внимательнее. Некоторые отзывались об его поступке одобрительно, расхваливая его смелость и решительность, другие же ругали его. Среди последних были Ялакас и Рейтель.

Лена предпочитала не говорить о случившемся, кроме одного раза, когда она заявила, что Ян глуп, как башмак.

Никаких серьезных последствий вспыльчивость Яна за собой не повлекла, как этого боялись некоторые из его товарищей, особенно Рейтель и Ялакас.

Скоро Ян заметил, что Артур Лане начал заискивать перед ним, добиваясь его дружбы и доверия.

— Замечательно ты его отчехвостил... помнишь, этого... мочалку-то, сторожа... — сказал он однажды, подсев в барак к Яну.

Ян знал, что с этим молодцом надо держать ухо востро, и просто ответил:

— Ничего хорошего в этом не было.

— Выжимают из нас последние соки, а мы не смей требовать своего! — горячо воскликнул Лане. — Следовало бы им показать кузькину мать.

— Ты что — коммунист?

Лане загадочно улыбнулся.

— Нет, но это нисколько не мешает мне ненавидеть буржуев.

— А ты их разве ненавидишь?

— Еще бы! — вскрикнул Лане. — Я бы их...

— Почему же ты не делаешь того, что должен делать?

— Так разве я один могу? Если меня будут поддерживать другие...

Ян укрепился в подозрении, что имеет дело с провокатором и шпионом.

— Ладно, я подумую... — сказал он и поднялся.

Однажды вечером он вышел побродить и около копи встретился с надзирателем Горским.

— Здравствуйте! — сказал он и прошел мимо.

— Постой-ка, молодой человек, — остановил его Горский. Он нетвердо держался на ногах и пошатывался.

«Пьян», — с брезгливостью подумал Ян, но все же остановился.

— Это ты моего денщика хотел убить? — спросил Горский.

— Нет, господин надзиратель! Убивать его я не хотел, а просто требовал, чтобы он вернул мои деньги, — резко сказал Ян.

— Деньги? — переспросил Горский. — Тебе нужны деньги, а?

— Нужно же мне как-нибудь жить, — господин надзиратель, а вы сами знаете, что без денег это невозможно.

Горский рассмеялся.

— Правильно, молодой человек, — без денег что за жизнь! Без денег и жить не стоит. Хочешь, я тебе дам денег?

— Я должен их заработать.

— Заработаешь, конечно, заработаешь... Непременно... Ты, я слышал, с Ленкой синеглазой хороводишься, верно?

Ян покраснел.

— Нет, это неправда. Я только сплю на ее кровати.

— Ого-го-го! — загоготал Горский. — Ты только спишь с нею, а вовсе не хороводишься. Правильно, молодой человек, так и надо!.. Ого-го-го!..

Ян почувствовал озлобление.

— Нет, господин надиратель, вы ошибаетесь!..

Но Горский перебил его:

— Ну, как она, а?..—Горский гоготал и, покручивая усы, смотрел влажными глазами на Яна. — Она — девка аппетитная.

— Господин надзиратель! Вы не смеете оскорблять эту девушку!

— Что, что такое?.. Ого-го-го... Распотешил ты меня... Вот что: пришли-ка ее хоть на одну ночь ко мне. Не бойся, ее не убудет, а ты получишь деньги.

Когда Ян после разговора с Горским вернулся к баракам, у него кружилась голова и подкашивались ноги. Неужели этот Горский считает Лену такой низкой, а его таким подлецом!

Лене он ничего не сказал о встрече с надзирателем, а когда она спросила, почему он такой хмурый и молчаливый, он сослался на головную боль.

VI

После разговора с Ялакасом в день получки Ян стал испытывать к нему полное доверие. Несколько раз уже собирался он поговорить с ним о том, что его так занимало, — о предложении Горского, но каждый раз что-нибудь мешало.

Как-то вечером он направился в бараки семейных, чтобы вызвать своего друга. Когда он открыл дверь, в нос ему ударила нестерпимая вонь. По грязному полу ползали ребятишки почти совершенно голые. Тут были дети обоих полов и всевозможных возрастов. Были такие, что лежали еще в наполненных соломой и покрытых грязными тряпицами ящиках и корзинах, заменяющих люльки. Другие могли уже ползать и проделывали это с явным удовольствием. Большинство, однако, передвигалось уже на собственных ногах. Каждый из этих маленьких людей подавал свой голос, каждый кричал о чем-то. Один только-что получил порку от матери, другого кто-нибудь обидел, третий упал и ушибся, четвертый, быть может, не хотел отставать от компании, — словом, много было причин, чтобы давать о себе знать.

Внутреннее устройство барака было точь-в-точь такое же, как в холостяцком. Так же возвышалась перед входом уходящая вглубь помещения развалившаяся плита, вокруг которой суетились полуголые, растрепанные женщины, грязные и рваные рубашки которых открывали отвислые, как пустые мешки, груди. Под крышей тянулись веревки, на которых висели сушившиеся пеленки. В воздухе стоял едкий запах.

— Не хочешь ли выйти на минутку? — спросил Ян Ялакаса, которого ему удалось отыскать не без труда.

— Отчего же, пойдём, — согласился тот.

Когда они отошли от барачков достаточно далеко, Ян сказал:

— Я обнаружил шпиона.

— Ну? — удивился Ялакас.

— Артур Лане. — И Ян рассказал, как застал его за дружеской беседой с надзирателем, как они при его

появлении круто переменяли разговор и как Лане приставал к нему с предложениями дружбы.

— Да, — сказал Ялакас. — Мы так и думали.

— Кто это вы? — спросил Ян.

— Ну, рабочие...

— Вот как! — Ян понял, что Ялакас скрывает от него что-то, но расспрашивать не хотел. Раз Ялакас скрывает, значит, так надо.

Он принялся рассказывать про свою встречу с Горским и, кончив, воскликнул:

— Какой же он, однако, подлец!

— Все они такие, — сказал Ялакас. — Но об этом надо подумать. Горский не такой, чтобы отказаться от своих планов. Он будет добиваться своего.

— Как же нам быть? — спросил Ян, обеспокоенный словами товарища.

— Пока я еще ничего не могу сказать. Только, смотри, сдерживай немного свою прыть и глупостей не твори, а то беды не оберешься.

Они разошлись по своим баракам.

На следующий день Ян заметил, что подавленное настроение его передалось Лене. Таким образом они обменялись ролями, и Ян начал расспрашивать девушку о причинах ее угнетенного состояния. Лена рассмеялась и попыталась отделаться шуткой, но, убедившись, что таким способом от парня не отвязаться, последовала примеру Яна и заявила, что у нее болит голова.

— Вообще я чувствую себя в последнее время плохо, — добавила она, — ты должен найти себе другое место ночлега, — я не высыпаюсь...

— Я надоел тебе? — спросил Ян и умоляюще посмотрел в синие глаза Лены.

— Глупый мальчишка! — рассмеялась она. Нет, ты хороший парень, но пойми, что у меня болит голова.

— Конечно, если хочешь, я найду себе другое место, но в твою головную боль я не верю. Поболит, да и перестанет... А мне на нарах места хватит.

Ян был далеко от мысли упрекать девушку, но она поняла его по-своему.

— Нет, ты не думай, что я без всякой причины прогоняю тебя на голые нары. Я отлично знаю, как трудно работать, когда ночью не выспишься, как следует. Кроме того, тебе не придется спать на голых досках. Ты будешь спать с Сальме, а Элли переберется ко мне.

— Значит, ты все-таки будешь спать не одна?

— Да, конечно, но... ты... ты больше не спрашивай... Я желаю тебе только добра. Синие глаза девушки стали влажными и она, стремительно повернувшись, ушла.

Ян очутился перед новой загадкой, сложной загадкой, которую он, как ни старался, не в состоянии был решить. Ялакас советовал ему быть на-чеку и остерегаться кого-то. Лена, желая ему добра, прогнала его. Но неужели Лена до сих пор не заметила, что ему просто хочется быть около нее, чувствовать ее присутствие? Почему у нее так странно заблестели глаза, когда она сказала, что желает ему добра? Почему она избегала смотреть ему в глаза? Неужели она тоже...

Ян осунулся и похудел за эти дни. Рейтель старался развлечь его, рассказывая забавные истории из своей морской жизни. Ян смеялся, отвечал шутками на шутки, но глаза его продолжали оставаться хмурыми и холодно смотрели вдаль.

Однажды Ян спросил Рейтеля:

— Скажи, ты любил когда-нибудь девушку?

Рейтель смутился.

— Я не из любопытства спрашиваю, — прибавил Ян.

- Ну, любил...
- А где она теперь?
- Где?.. Она в России.
- Что, она большевичка?
- Да...
- И ты ее любишь теперь?
- Зачем тебе это знать?
- Нет, ты скажи. Будь уверен, что я умею молчать. Ты много жил, много странствовал... Скажи, трудно расставаться с любимой?
- Трудно...
- Так... Спасибо!..
- Это все, что ты хотел узнать?
- Да.
- А я думал, что это только вступление.
- Нет, это все.
- Что же, ты думаешь расставаться со своей любимой, что ли?
- Да... то-есть нет... Она даже не знает, что я ее люблю.
- Ты про кого говоришь, про Лену?
- А ты откуда знаешь?
- Раз говорю, стало быть, знаю.
- Некоторое время оба хранили молчание. Потом Ян спросил:
- А что твоя любимая там в России делает?
- Работает.
- Разве там лучше, чем здесь?
- Лучше.
- Почему же ты не поедешь туда? Знай я немного побольше, да умей объясняться по-русски, непременно поехал бы.
- Нельзя же всем уехать туда. И тут есть работа...

VII

Занятый своими мыслями, Ян не мог заснуть и, осторожно встав, чтобы не разбудить Сальме, вышел подышать свежим воздухом.

Была тихая ночь. Восток уже розовел. На горизонте стлалась белесая пелена и сквозь нее мигали тусклые звезды. Где-то скрипел дергач, да издали доносились глухие стоны филина.

Он уселся недалеко от того места, откуда в день прихода наблюдал за работой. Так недавно это было, а казалось, что прошло уже много лет.

Он задумался о Лене. Его занимала происшедшая в ней резкая перемена. Она почти перестала с ним разговаривать и как будто стала избегать его.

Вдруг он заметил черную тень, промелькнувшую в кустарнике, и поднялся. «Может, пожалуй, выйти грязная история», — подумал он, заметив, что незнакомец пробирается сквозь кусты осторожно, стараясь производить по возможности меньше шума. Не упуская из вида мелькавшую впереди тень, он столь же бесшумно двинулся вслед за ней.

Выйдя на поляну, он увидел, что человек ползком добрался до края отвесной стены копи и бросил что-то вниз, а затем, передвинувшись на другое место, снова повторил то же самое. Ян узнал Рейтеля.

«Нет, Рейтель на грязное дело не пойдет», — подумал успокоенный Ян, но в тот момент увидел приближавшуюся сквозь ночную муть фигуру сторожа. Он чувствовал, что тот не должен заметить Рейтеля.

— Рейтель! — произнес он полушопотом.

— Что?.. Кто там?.. — встрепенулся тот.

— Это я — Пелльюсерв. Сюда идет сторож.

-- А, ты... Ну, ладно. Сторожа я вижу.

Он еще раз бросил что-то вниз и отполз назад к кустам.

— Ты что там делал? — спросил Ян.

Рейтель схватил его за руку.

— Пойдем скорее... Я думал, что это кто-нибудь другой.

Они нырнули в кусты.

— Я испугал тебя? — спросил Ян.

— Нет, наш брат должен быть готовым ко всему. На, читай.

В руке Яна очутился листок бумаги. Ночь была настолько светлая, что без труда можно было разоб-
рать крупные буквы литографированного письма.

«Товарищи рабочие!

Спасите вашу сестру от позора. Хозяевам недостаточно того, что они выжимают из нас пот и кровь. Они хотят обесчестить наших дочерей и сестер. Им недостаточно того, что мы их обогащаем, живя при этом сами впроголодь. Теперь они подбираются уже к нашим женам.

Работницы, ваша сестра в опасности, не давайте ей погибнуть!

На-днях одна из работниц получила «приказ» от бывшего царского полковника Горского явиться к нему на дом, с угрозой в противном случае уволить ее с работы и арестовать.

Товарищи! Бросим этим господам наше твердое слово:

Не позволим!»

Ян прочел листок два раза.

— Про кого тут говорится, — про Лену?

— Да.

— Надо убить Горского!

— Ничего не выйдет. Дадут другого.

Ян вспомнил Ялакаса, который сказал то же самое: дадут другого. Он тяжело вздохнул. Рейтель между тем продолжал:

— Если тебе понадобится пробить каменную стену, не станешь же ты делать это головой, потому что головой стену не прошибешь. Верно ведь?

— Верно, — сказал Ян. В горле его застрял какой-то комок.

— Конечно, существуют люди, которые, несмотря ни на что, долбят головой стену и, конечно, ничего не добиваются: стена остается невредимой, а человек навеки лишается способности разбивать стены.

Ян не мог не согласиться с доводами Рейтеля, но мозг его был словно окутан каким-то туманом. Мысль о грозящей опасности не давала ему покоя. Голова упорно работала над вопросом, как уберечь от Горского эту девушку, которая за несколько недель стала ему бесконечно дорогой. После продолжительных размышлений ему показалось, что выход найден.

— Что, собственно, мешает Лене сегодня же ночью оставить копи? — спросил он в раздумьи.

— Это значит — уйти в подполье, как вынужден был сделать твой отец, — сказал Рейтель. — Нет, это не годится. Ведь паспорт ей не выдадут. Она может получить его лишь по истечении месяца после подачи заявления об уходе с работы.

— Значит, опять ничего... Но я не могу оставаться простым зрителем, когда я должен действовать.

— Можно рассчитывать на благоприятный исход, если ты будешь действовать не один, а сообща со всеми, организованно и без опрометчивости. Если мы

завтра все скажем: «Стоп!» — как ты думаешь, не оставит ли это Горского?

— Скажем, но не все. Лане, например, не скажет.

Рейтель усмехнулся.

— Ты их еще не знаешь. Лане будет одним из первых. Он скажет даже больше. Он будет призывать нас разгромить контору.

— Что ты говоришь? — удивленно спросил Ян.

— Да, да, провокаторы будут завтра из кожи лезть, призывая рабочих к беспорядкам. Но мы должны пока что сохранять порядок. Мы же не из тех, что бьются головой в стену. Наша цель сейчас — спасти девушку и доказать рабочим, что наша партия — единственная, защищающая интересы рабочих, что она подлинная рабочая партия. Главное — ты не должен горячиться, — провокаторы следят за нами и пользуются всяким случаем. А теперь надо отдохнуть. Завтра нам предстоит тяжелый день.

Они возвратились к баракам и вошли. Тихо скрипнула дверь. После свежего лесного воздуха остро ударило в нос запахом человеческих испарений и гнили. Вокруг раздавалось неровное дыхание спящих и храпенье.

Рейтель сразу же лег и заснул. Яну спать не хотелось, и он раздевался неохотно. Взгляд его упал на спавших неподалеку рядышком Лену и Элли. Одеяло соскользнуло с них, обнажив голые руки девушек, обвивавшие шеи друг друга. Груды их равномерно поднимались и опускались под белевшими в темноте сорочками.

Ян на цыпочках подошел к спящим и нагнулся над Леной. В голове его шумело, а сердце мчалось скачками.

Взгляд Яна, повидимому, обеспокоил Лену. Она зашевелилась и, неожиданно открыв глаза, долго и

испытующе глядела на него, затем резким движением подтянула одеяло выше и закуталась в него плотнее.

— Почему ты не спишь? — спросила она.

— Не спится, — с деланным спокойствием ответил Ян и отошел к окну. Присев на край стола, он стал смотреть на улицу.

— Почему ты такой странный? — снова заговорила Лена.

— Вовсе я не странный! — равнодушно ответил он. Ему было больно при мысли, что он ничего не может сделать для Лены, но он силился скрыть страдание под миной безразличия, чтобы не тревожить ее.

Лена набросила на себя платье и подошла к Яну.

— Ты слышал разве? — спросила она.

— Что?

— Да про это... Про Горского?

— Да.

— И сразу распустил?.. Эх, ты!.. Лена провела горячей от сна рукой по щеке Яна, как в тот раз, когда у него болела нога.

VIII

Как всегда, шли люди на работу в копи молчаливые и хмурые, дымя короткими трубками между крепко стиснутыми зубами. Громадная береза на краю тропинки безучастно смотрела на это каждодневное шествие.

Яну показалось, что он видит березу впервые. Он никогда не замечал исполинских размеров дерева, которое, раздваиваясь высоко над землей, превращалось как бы в два самостоятельных дерева.

Он посмотрел на шагавшего рядом с ним Рейтеля, и его поразила ширина Рейтелева лба и угловатые линии его подбородка. Это было для него ново.

Подмигнув ему, Рейтель показал глазами на шедшего впереди Лане. Ужимка товарища показалась Яну несколько комичной. Ян расхохотался, но сразу же оборвал свой смех.

— Говорят, что кукушка кладет свои яйца в чужие гнезда.

— Да, но при чем тут кукушка?

— Просто так... вспомнилось.

Они стали спускаться по тропинке вниз к разработкам.

Ян задумался: почему он раньше не замечал, что береза раздваивается и что у Рейтеля широкий лоб и угловатый подбородок? Ему казалось, что не только Рейтель и береза, но всё и все стали другими, непохожими на себя.

Несколько в стороне идет Лена. Она в белом платочке. Как идет ей этот платочек, но в то же время меняет ее до неузнаваемости...

Впрочем, она всегда кажется ему новой, а вот Ялкас! Тоже не тот, что вчера и позавчера. Шахта сегодня не давит своими стенами и наверху не оборванный клочек неба, как раньше, а целое море...

Больше всего Яна поразило то, что люди принялись за работу, как обычно.

Он же думал, что поднимется шум, раздадутся крики возмущения, начнутся выступления. Он видел собственными глазами, как бросили в шахту прокламации. Он читал их и рассчитывал, что рабочие хоть что-нибудь да предпримут, хоть чем-нибудь выкажут свое возмущение. Но ничего такого не было.

Каждый, не торопясь, шурша оберточной бумагой, прятал свой обед в какую-нибудь щель сланцевой стены или просто в тень, чтобы хлеб на солнце не засыхал.

Рабочие растянулись в длинную колонну, и когда Ян подошел к своему месту, передние успели уже засучить рукава и взяться за кирку. Что, если кто-нибудь собрал до прихода рабочих прокламации?

Вдруг в голове его мелькнула мысль: поделиться своими сомнениями с Рейтелем, но в глазах того было нечто, что его остановило.

Рейтель долго смотрел на него. Первоначальное выражение строгости, даже угрозы постепенно исчезло из его глаз и вдруг они заискрились смехом. Рейтель зажмурился и скорчил смешную гримасу, но никто, кроме Яна, этого не видел.

У последнего отлегло с сердца. Им овладело ощущение, что он является причастным к какой-то великой тайне, и мысль эта радовала его.

— О-го-го-го... Стало быть, ты не веришь, что кукушки кладут яйца в чужие гнезда?

— Дурак! — незлобиво буркнул Рейтель. — Зачем они станут в чужие гнезда лезть?..

Они приступили к работе.

— Сегодня сланец пошел рыхлый, того и гляди, отдавит кому-нибудь ногу, — сказал Ялакас, с размаху ударяя киркой.

Они переглянулись с Рейтелем.

— Зато легче осыпается, — ответил он.

Немного погодя поблизости действительно раздался крик и кто-то упал. Это был молодой рабочий Михельсон. Сбежавшиеся товарищи окружили его.

— Что, сильно ушибся? Дай, посмотрю, — сказал кто-то.

— Врач ты, что ли... Ой... ой!.. — стонал ушибленный и, подпираясь палкой, пополз в гору.

Вскоре случай повторился с другим; на этот раз пострадал бородач Кивистик, бывший рабочий завода «Двигатель».

— Что ж, придется отдыхать, — сказал он. — Займись в бараке массажем, может и отойдет.

Ян ничего не понимал. Неужели сланец действительно стал настолько рыхлым, что в течение короткого времени придавил уже двоих?

Наступило время обеда.

Грузной походкой подошел сторож.

— В контору зовут... тебя, красотка! — обратился он к Лене.

— Зачем? — вспыхнула та.

— Да кто их знает, — махнул сторож рукой. — Зовут, значит, иди.

— Мне некогда, — отрезала Лена. — Скажи им, что я зарабатываю не так много, чтобы терять время, шатаюсь по конторам.

— Сейчас обеденный перерыв, отдых...

— Во время перерыва надо отдыхать, — вмешался Рейтель.

— Мне-то что, — безучастно сказал сторож. — Мне велено, я и пришел, а там... хоть на головах ходите.

— Ишь... на головах! Проваливай, проваливай! — крикнула одна из работниц.

— А ты язык-то не больно распускай! — строго проворчал сторож.

— Поговори еще!

Сторож удалился, ворча себе что-то под нос, но на полпути еще раз обернулся:

— А ты, девка, все-таки сходила бы. Не было бы хуже....

— Начинается, — шепнул Рейтель Яну.

Началось с того, что Кивистик вернулся. Ушибленная нога была перевязана, но он ходил, почти не хромя.

Передавали, что послано за полицией, но никто не знал, чем вызвана такая мера. Обед кончился и все приступили к работе.

Люди с ожесточением били кирками в сланцевую стену, выворачивая целые глыбы и дробя их на мелкие куски. Звякали лопаты, ссыпая сланец в тачки. Взоры рабочих были устремлены на гору, где охал и вздыхал паровоз и лязгали платформы.

Вдруг на зеленом фоне леса показались такие же зеленые фуражки.

— Идут! — сказал кто-то.

— Кайтселийт *), — прибавил другой.

Работа на минуту приостановилась.

— Человек 20 «кайтселийта» и пара полицейских, — сообщил мальчишка, приехавший с порожними ваго-нетками.

Не хотелось продолжать работу. Словно убедившись в бесполезности ее, некоторые бросили кирки и закурили.

Ян начал искать глазами среди женщин Лену. Она стояла с раскрасневшимся лицом и горящими щеками. Глаза ее были опущены и губы крепко сжаты. Подбородок слегка дрожал. Она разговаривала с Элли, держа лопату в руках. Ян не мог расслышать, о чем они говорили: было слишком далеко. Затем она подняла голову, и взоры их встретились. Девушка улыбнулась ему и кивнула головой. Ян хотел крикнуть ей что-нибудь, но она уже отвернулась.

Двое полицейских спустились вниз. «Кайтселийт», повидимому, остались у выхода.

— Вы арестованы, Пальюкас.

*) Фашистская организация из зажиточных крестьян, купцов и чиновников.

Лена выпрямилась и бросила на полицейского вызывающий взгляд.

— Можно узнать причину?

— Вам, вероятно, скажут.

— Вероятно? — засмеялась Лена. — А я хочу знать наверняка.

— Советуем не сопротивляться, — сказал один из полицейских. — Лучше подчиниться.

Но рабочие уже окружили полицейского тесным кольцом.

— Что такое случилось? За что ее забирают? — посыпались вопросы.

Один из полицейских с горбатым носом и рассеченной губой повернулся к рабочим.

— Мы ничего не знаем, господа, нам приказано, — сказал он так, чтобы все слышали.

— А, не знаете? — крикнула Элли.

— А мы вот знаем... Нате, читайте! — и она сунула в руку полицейскому листок.

Полицейский взглянул на прокламацию, и в глазах его вспыхнула злоба, а на кончике горбатого носа выступили капли пота.

— Гражданка, вы арестованы! — крикнул он и хотел схватить Элли, но та проворно увернулась.

— Господин «вымм» *) гоняется за девками, — засмеялась она, — что, не легко живется вашему брату? Раздался хохот — вызывающий и задорный.

— Именем закона... — снова начал полицейский, но целый дождь листков посыпался на него.

— А это почище закона!

— А вот еще...

— Еще...

*) Аналогично русскому «фараону».

Со всех сторон сыпались листы на головы и спины полицейских.

— Стой, товарищи! — раздался вдруг сильный голос. Это был Рейтель, стоявший во весь рост на вагонетке. — Внимание... Господа полицейские, чего доброго, могут подумать, что мы собираемся их обидеть. Но такого намерения у нас нет. Мы хотим, чтобы они узнали всю правду. Придя сегодня утром на работу, мы нашли здесь эти листки и вот что в них говорится.

Рейтель взял прокламацию и начал читать.

Полицейские сделали попытку выбраться из кольца обступивших их рабочих, но плотная стена упорно не расступалась.

— Запрещаю читать! — крикнул, задыхаясь, один из полицейских, но Рейтель, не обращая на него внимания, продолжал...

Кончив чтение, он сошел с вагонетки и протиснулся к полицейским.

— Слышали? — спокойно спросил он.

— Это бунт! — ответил полицейский. — В нашей республике имеются законы...

— Знаем, знаем! Но только не против изнасилования девушек.

— Не станет же министр юстиции сам против себя законы издавать... *)

— Согласитесь, — снова обратился Рейтель к полицейским, — что после подобного открытия мы не можем допустить, чтобы наших работниц волокли в контору или еще куда-нибудь. Вот гражданка Пальюкас подтвердит, что Горский грозил ей увольнением.

*) Пуссеп — бывш. царский чиновник. По данным архивов изнасиловал в Тихорецке девушку и передал ее потом в руки пьяной казачьей сотни. Девушка умерла на другой день. Пуссеп и казаки избегли наказания. («Эдази»).

Полицейские отпустили Лену, которая не замедлила смешаться с толпой работниц. Представители закона стояли в нерешительности.

— Если это правда... — начал один.

— Конечно, правда! Кому вы больше верите: одному Горскому или пятистам рабочих?

— А где вы достали эти листки? Ведь подписаны они людьми, которые стоят вне закона, и поэтому мы обязаны вас задержать, — упирались полицейские.

— Вы же слышали, что мы нашли их здесь, придя на работу.

— Но гражданка Пальюкас, видимо, находится в связи с ними. Иначе как же они могли узнать о предложениях Горского?

— По вашему выходит, что давать отпор гнусным предложениям может только человек, стоящий вне закона! — не стерпел Ян.

— А вы, молокосос, лучше помолчите! — отрезал блюститель закона.

— Мне лично говорить не о чем, — продолжал Ян. — Все знали об этой истории, но не нашлось никого, кто выступил бы против этой гнусности, кроме...

— Кроме?.. — спросил усатый полицейский. Но Ян уже оттерли.

Вдруг прилетевший откуда-то камень угодил в грудь усатому полицейскому.

Раздался пронзительный свист.

— Вот он, вот он!... Держи-и-и! — закричал кто-то, и Ян увидел, как Кивистик, забыв о своей больной ноге, бросился догонять побежавшего Михельсона.

— Страшно, — подумал Ян. — Обоих ведь придавило... Когда же Михельсон вернулся?

За Михельсоном погнались еще несколько человек и настигли его около полицейских.

Преследуемый кричал и брыкался, но его держали крепкие руки. Рабочие приволокли беглеца к полицейским. Ушибленный камнем держался за грудь и тихо стонал. Другой, не решаясь оставить товарища, пронзительно свистел.

Сверху бегом приближались люди в зеленых фуражках, вооруженные винтовками и револьверами.

— Арестуйте его, это он бросил камнем, — сказал Квистик, утирая пот с лица и указывая рукой на Михельсона.

Но в этот момент произошло нечто неожиданное. Подбежав к группе рабочих, один из «кайтселийтов», размахнувшись, ударил прикладом рабочего, который свалился, не издав ни звука.

Остальные шарахнулись в разные стороны.

— Остановитесь!.. Стой!..—раздался голос Рейтеля.

— Стой!.. Стой!.. К порядку!..—кричало несколько голосов, но они заглушались растущим шумом.

Щелкнули несколько коротких и сухих выстрелов. Раздался визг женщин, полетели камни... Все смешалось в беспорядочную кучу.

Ян увидел возле себя зеленую фуражку и мелькнувший в воздухе приклад. Он нагнулся и удар миновал его. Схватив тяжелый кусок сланца, он изо всей силы запустил им в зеленую фуражку и она исчезла.

Он осмотрелся. В шахту бежали все новые и новые группы зеленых фуражек.

Они бросались в гущу рабочих, били прикладами и стреляли.

Рабочие защищались камнями.

Вдруг он увидел недалеко от себя Лену. Она была смертельно бледна и пошатывалась.

Ян бросился к ней. На губах ее виднелась кровь.

— Ударили... прикладом... в грудь...

Больше ничего Ян уже не слышал. В ушах загудел огромный колокол, голова внезапно стала свинцовой.

«Кукушки кладут свои яйца в чужие гнезда».

Ему страшно хотелось присесть, но он помнил, что теперь отдыхать нельзя, что он должен защищать Лену. Открыв с усилием слипавшиеся глаза, он поднялся на ноги и обвел вокруг себя помутившимся взглядом. Взор его остановился на стороже, который шел прямо на него.

Ян поднял камень, но сторож одним прыжком очутился около него и схватил его за горло. Костлявые пальцы впились в шею Яна.

Ф. ТУГЛАС

ДУШЕВОЙ НАДЕЛ

Перевод с эстонского
К. ВАЛЬНЕР

Фридеберт Туглас (род. в 1886 г.) — революционный деятель 1905 г., но после Октября ушедший в лагерь национализма. В 1919 г. выступил с книгой «Эхо эпохи», направленной против большевиков. Произведения Тугласа носят ярко выраженный народнический характер, своеобразно преломляющийся в местных условиях. Живет в Эстонии.

F. TUGLAS
«Hingemaa»

Сказ о том, что человек не заяц, чтоб питаться корой осины, и что земной шар действительно тяжел.

I

Осенний день склонился к вечеру. Воздух был пропитан влагой, моросил мелкий дождь. Наступили дни, когда дороги делаются непроезжими. Это — время досады и угнетенного расположения духа.

Молодой кандидат на учительскую должность остановился посреди большой дороги и перевел дух. Ух, какая погода! И как-раз теперь она должна быть такой, когда молодой учитель идет впервые с железнодорожной станции на учительские выборы. Еще шесть верст. А почва под ногами жидка, в сапогах мокро. Какая отвратительная погода!

Только на мгновенье проникли в голову юноши такие угрюмые мысли. Одно дуновенье — и опять сияло солнце в мыслях молодого человека и голоса бесстрашия пели песнь радости. Молодые мысли подымались, как легкие облака засухи, раздувались и струились и поплыли длинными рядами одна за другой через голову. Никто не намечал им предела и не заковал их в оковы. И они также рассказывали великую

сказку о волшебном замке юноше, стоявшему на пороге жизни.

Юган Реммельгас идет в народ: он понесет ему просветление, он пожертвует ему свою силу и энтузиазм молодости. Другого ему дать нечего, но иного народ и не потребует. Пусть дадут мало жалованья, пусть будет работы много — это на пользу народа.

Реммельгас вспоминал свою скучную, монотонную жизнь. Как во сне всплыла картина из далекого детства, — туманная и привлекательная: было, по всей вероятности, весеннее время, так как по углам школы стояли березы. Крестьяне с морщинистыми лицами и бабы в сверкающих платках сидели рядышком на длинных скамьях. Согбенный старик с белой бородой читал за столом проповедь. Это был его дед — старый Пееп Реммельгас.

Юган стоял рядом с дедом, — кто знает, какого он тогда был возраста, — и смотрел, как большая синяя муха полетела на евангелие и заслонила собой все слово, так что теще пришлось ее отогнать. Однако, когда муха улетела, за этим словом образовалась странным образом новая точка, которая, по всей вероятности, была излишней. Молодой учитель вспомнил также, что он по этому поводу засмеялся и что дед его за этот смех драл за ухо.

Кто знает, когда это было. Но, кажется, во всяком случае давно. Дед был такой седой, а он сам еще так молод. Не знал маленький Юган тогда еще того беспросветного горя, которое выглядывало из глубоких морщин крестьян.

Другая картина всплыла в памяти Югана. Тогда он был уже в таком возрасте, что знал, что этой точки там на самом деле не надо было, куда синяя муха ее поставила в евангелии. Старый Пееп Реммельгас

сидел в пустой классной комнате за столом, у которого ножки были с перекладинами, держал седую голову в дрожащих руках и говорил плача:

«Прогоняют... Стал я, будто, негодным, говорят, русского языка не знаю, стал глуп... Боже мой, сорок лет был умен и мог в школе всему обучать, теперь же не умею... стал глуп... Сынишка Юганек, пойдем-ка теперь в богадельню, Пееп Реммельгас слишком глуп для того, чтоб еще смог учить людей...»

Как ножом врезалось это воспоминание в грудь юноши: сорок лет человек был умен и учил детей, теперь он стал вдруг глупым, потому что русского языка не знает.

Юган Реммельгас ступал по дороге и задумался над своей серой, будничной жизнью. Год спустя дед умер в богадельне, — для чего же жить человеку, который даже русского языка не знает! Юган же пошел из богадельни один по белу свету.

Погасли грустные воспоминания и их заменили крылатые надежды будущего.

Юган Реммельгас, — да, это он настоящий просветитель народа. Все те ошибались, которые были до него. Он пересоздаст школу. Здесь библиотеки и общества, собрания и курсы. Школа должна стать центром волости. Особый народный университет он учредит. Много он о них читал: в Америке есть, в Западной Европе и Австралии имеются они. Каждое воскресенье будет приезжать тот или другой интеллигент из города, чтобы сказать речь. Зимой народ мог бы собираться по несколько раз в неделю. И так это продолжится не месяц или два — целыми годами шло бы это. Тем временем подрастет новое поколение. Ему эти вещи, о которых Реммельгас впервые расскажет старикам, уже не покажутся чудесами. Оно о них услышало бы

уже на школьной скамье. Этому поколению пришлось бы дать гораздо лучшее образование.

Но что сможет один Юган Реммельгас?! Нет, он является лишь каплей воды в большом море. Учителя всей страны и наиболее образованные люди объединились бы. И они смогли бы общими силами выполнить гигантскую работу просветления народа.

II

Но мелкий дождь моросил беспрестанно. Было тихо и воздух был пронизан туманом. Время клонилось к вечеру, смеркалось.

Дорога была скользка и в выбоинах. Сколько уж возили сюда щебня, сколько хвороста. Но большая тень помещичьего леса, падающая на дорогу, все это съела: солнце не грело с юга, дорога никогда не высыхала.

По ту сторону дороги чернела бесконечная топкая долина и в ее самом отдаленном краю горело несколько огоньков: было уже так темно. Было так странно, не верилось, что за этим морем грязи в луже грязи кто-нибудь еще жил.

Устало волоча за собой ноги, шагал Реммельгас вперед. У поворота леса он заметил на дороге что-то движущееся, живое. В сумерках глаз не различал, что это такое, лишь слышалось плесканье воды и чьи-то вздохи.

Утопая до оси в грязи, стоял посреди дороги воз с сеном. Жалкая лошадь выбивалась из сил, и горбатый мужик тянул за оглобли, но такой же жалкий и горбатенький воз с сеном не тронулся с места. В глазах прохожего и лошадь и мужик слились в одно странное, шестиножное животное, которое утомленно куда-то стремилось, выбиваясь из сил, билось и встало,

но ничего другого не смогло сделать, как только обрызгать себе лицо грязью.

— Бог в помощь! — сказал Реммельгас.

— Спасибо! — ответил горбатый мужик так же коротко и, отступив на несколько шагов от воза, спросил вдруг:

— Откуда вы?

— Из города.

— Долго уже здесь возитесь?

— Довольно-таки долго. — Мужик плюнул себе в ладонь и взялся снова за оглоблю: — Ну, пошла!

— Погоди, я подопру с другой стороны, авось удастся, — сказал Реммельгас и обогнул морду клячи.

— Что вы!..

Реммельгасу показалось, что он заметил во тьме, как горбатый презрительно взглянул на его пенсне и белый воротник, который выглядывал из-за приподнятого ворота пальто.

— Ну, пошла, ну... ну... Но-о!..

Вода и грязь плескали. Воз приподнялся, съезжился еще более, как кошка, готовящаяся к прыжку, качнулся и поддался мягко вперед.

— Ох, ты чудо небесное! — промолвил горбатый, снял шапку и вытер пот. — Уж больно сильно пришлось самому тянуть, каково бедной лошадке! — прибавил он немного спустя уже с улыбкой. — Вы же — барин, а идете подтягивать! — сказал он после некоторого молчания.

— Что за барин? Пас я так же стадо, как и вы, — промолвил Реммельгас по возможности проще, чтобы с самого начала смягчить чувство отчужденности. — Ну, и не знаю, кто из нынешних господ не пас бы стада! Все они ходили за скотом, но как только устро-

ятся, уж и не знают, как свинья бегаёт: хвостом или носом вперед.

Мужик плюнул. Реммельгас засмеялся над его сравнением. Разговор продолжался короткими фразами. Горбатый расспрашивал недоверчиво: кто, откуда, зачем. Услышав, что прохожий и есть учитель, он стал относиться к нему любезнее.

Наступила темная, черная осенняя ночь. На юге темнел попрежнему высокий еловый лес, а по ту сторону дороги будто земля провалилась: там чернело, как бездонная пропасть. Где-то вдали сверкали огоньки, как желтые и робкие звезды, мелькали, дрожали и гасли.

— Что, Курукальмовская школа еще далеко? — спросил Реммельгас.

— Ну, будет еще верст пять.

— Тогда и надежды нет дойти сегодня. В этой мгле себе и шею вывихнешь. Не могли бы вы мне где-нибудь поблизости указать ночлег? Завтра утром я дошел бы.

— Ночлег? В деревне Курукальм нашелся бы, но это там, у школы. Здесь же одни только помещичьи земли да участки бобылей.

— Нельзя ли у вас?

— У меня? Хотите ко мне притти? Не могу я вас ни накормить, ни мягкой подушки дать!...

— Вы, значит, думаете, что я всем этим по сие время наслаждался вдоволь?

В словах Реммельгаса было что-то грустное, жалостное, и горбатый бобыль вдруг почувствовал, что у него с этим человеком есть что-то общее, родное, и он произнес кратко:

— Ну, пойдёмте. По крайней мере будет сухо, согреетесь!

Вскоре они свернули с большой дороги. Прогон был еще сквернее, еще более в выбоинах и в колеях, чем большая дорога. Воз подпрыгивал и танцевал, телега на деревянных осях скрипела и стонала, будто жаловалась кому-то невидимому на эту гадкую дорогу и тяжелую ношу. Часто мужчины брались за оглобли, чтобы помочь лошади.

— Вот оно, это наше житье-бытье! — произнес бобыль и указал кнутом по направлению огней. — Там мы и живем. Тринадцать дворов бобылей. У каждого голод за пазухой. Сегодня живешь, но о завтрашнем дне ничего не знаешь. Авось придется взять суму да посох нищенский и пойти. Но куда?

Грязь под ногами брызнула в ответ. Ветер усилился, дождь шел еще сильнее. Уже не моросил, а крупные капли падали шумно на почерневшую землю. Мужчины молчали. Реммельгас почувствовал, как холодная вода струилась по бокам. Рубашка была мокрая. Плечи и колени ныли. Ноги походили на комки грязи и были поэтому удивительно тяжелы.

— Прямо ужас, как льет этой осенью, — сказал немного погодя бобыль. — И конца края нет...

Впереди чернел двор бобыля. Воз свернул, шатаясь, в ворота. Было очень темно. По обеим сторонам чернели груды хвороста и белели выскобленные жерди.

Здесь находилось гнездо, с которым человек всю жизнь возился, куда вложил и все свои сбережения и все свои заботы, но которое, однако, казалось наблюдателю лишь жалким муравейником.

Дверь скрипнула и кто-то вышел с фонарем. Желтый свет падал на грязную землю, три полоски света подпрыгивали, вертелись и танцевали над возом, лошадью, грудями хвороста и горбатым бобылем.

Было непривычно видеть этот свет. Крыльцо казалось при свете фонаря еще более жалким.

Глаз не различал, кто это держит фонарь.

— Ну, наконец-то, вернулся, — сказала лицо, держащее фонарь. По голосу можно было заключить, что это — молодой мужчина.

— Не оставаться же мне в лесу! — отозвался пришедший с досадой.

Внезапно ветер закружился с визгом над домом и шелестел в гряде хвороста.

— Эх, ты, падаль, хочешь загасить огонь! — сердился человек с фонарем. — Чорт тебя побери!

— Со мной и прохожий пришел ночевать. Веди его в избу. Зги не видать, разобьет себе еще лицо о выступ.

Реммельгас взобрался через высокий порог в избу. Там было тесно. Дети испуганно глядели на прохожего и прятались в угол.

На столе горела маленькая керосиновая лампа с круглым фитилем. Мало от нее было света, но копоти много. В потолке, на полу и в углах было темно. На лицах детей играли желтые тени. У большой красной печи сидел на прилавке седой старик в одной рубашке и дремал.

Было так грязно, жутко, тесно и душно, что в первый миг у Реммельгаса закружилась голова. Очки потускнели от тепла.

Он снял очки и принялся их вытирать. Из угла же на него глядел десяток испуганных глаз.

Старик кивал в дреме головой, будто хотел сказать: «Такова, такова наша жизнь..., Такова, такова...»

III

Они сели за стол. Дети поужинали, повидимому, пораньше и лежали теперь вчетвером поперек на одной кровати. Но видно было, что они не спали: их серые глаза следили не то испуганно, не то с любопытством за прохожим. Они следили за каждым его движением, слушали внимательно каждое его слово, и когда взрослые смеялись, смеялся и среди них кое-кто из наиболее бойких.

— У вас ведь нет с собой еды, — сказала Реммельгасу сухощавая, еще молодая хозяйка с желтоватым лицом. — Подвиньтесь к нам поближе и кушайте что бог дал.

— Много ли бог даст бобылю! — махнул муж рукой, когда учитель присел к столу. — Ничего бог нам не даст легко. За каждую крошку хлеба придется гнуть кости и обливаться потом.

Он раздраженно воткнул большую деревянную ложку в холодную мучную кашу, отломил большой кусок и поднес устало ко рту. Вслед за этим опустил ложку в кислое молоко, что стояло в деревянной посуде посреди стола, и молоко последовало за кашей.

Неуклюже протянул и Реммельгас свою руку с ложкой к горшку с кашей, взял осторожно кусок каши и положил в рот. Каша была горькая и хрустела на зубах. Но учитель продолжал есть, несмотря на то, что еда ему была противна: он не хотел прекратить еду и рассердить этим хозяев.

Несколько минут прошло в молчании. Пламя дрожало, струя дыма расстилалась от жердей и щепок к потолку, маленькие пузырьки копоти соединялись, и потолок становился все чернее и чернее. Разорванная

паутина свисала с поперечного бруса; много на ней образовалось копоты, так что она походила на черную изодранную тряпицу.

Полуслепой старик опирался о стену. Его серая рубаха была расстегнута на груди, из отверстия рубашки выглядывала еще более серая волосатая грудь. Внутри же шумело и хрипело, будто там двигалась какая-то машина. Длинные, худые руки с синими жилами сильно дрожали, держась крепко за большую деревянную ложку.

Желтые тени играли на морщинистых, коричневых лицах хозяев. Странно было бы смотреть на этих людей со стороны, вне круга света: большие, волосатые, костлявые головы; длинные, неупругие, буревато-желтые шеи; высокие плечи и горбатые спины...

Так сидели они, и издали казалось, точно колдуны в дремучем лесу сбились в кучу около тайного огня и занимались молча чем-то чрезвычайно важным. На заплесневевшем камне стоят высокие сосуды с зеленой и серой жидкостью... Кривыми старинными ложками мешают колдуны жидкость... Змеи свернулись в клубок около сосудов... Вверху на небе мерцает одинокая звезда и разливает сквозь листву дрожащий свет... Глубокая, глухая ночь, колдуны приготавливают жизненный эликсир...

Вокруг стола же сидели усталые, разбитые люди. Не было у них волшебных слов, чтобы преобразовать свою жалкую жизнь. Как жернова легла жизнь на их спины, гнула до самой земли и дышать не дала. Вместо звезд глядели сверху жадные глаза и спрашивали: «Не едите ли вы уж больно много. Наберетесь еще гордости...»

Голод... труд... заботы... и что тогда? Смерть... бесследное исчезновение...

— Такова она, эта наша жизнь, — сказал бобыль вдруг, будто просыпаясь от дум. — Бог не даст нам ничего, ровно ничего. Все это свой труд и свой пот. Он и тем не дает, которые хвалят, будто все от бога. Возьмем попа, возьмем помещика. Они говорят, что бог дает им их благосостояние. Бобыль и батрак дают, а не бог!

— Ну, что ты, — начала было жена. — И бог и церковь тебе нипочем...

— Бобыль и батрак — их боги, которые дают от бедности своей! — произнес муж в раздумье. — Но этот бог им нипочем. Плюют тебе в лицо, — вот что!

— Черрр-ти! — протянул мужик помоложе сквозь зубы.

Его моложавое лицо покраснело от злости и глаза его сверкали. Только у него одного, повидимому, хватило еще сил сердиться, смело восстать против этой жалкой жизни и надеяться.

Охал старик, разгибая спину:

— Что же поделаешь? Живи да молчи! Нельзя сопротивляться, сынишка, нельзя!

— Ну, это еще посмотрим, — сказал мужик помоложе. — Мы же не последние свиньи, а они — не боги небесные. Чоррт, больно долго уж тебя вешают! Их шеи также толсты, пожалуй, даже толще, — ничего, выдержат веревку...

И опять сверкали его глаза.

— Что ж поделаешь! — сказал бобыль. — Сила и власть в их руках. Нет тебе и правосудия никого!

— Какое там правосудие! — сказал старик. — Я в молодости тоже добивался права и правосудия. Но получил сто пятьдесят розог. Нет сил с ними бороться. Куда темному мужику судиться с важными

господами! Ничего из этого не будет. Лучше потерпи, потерпи...

— Полно-те терпеть, — воскликнул младший брат возбужденно. — Надоело, наконец-то. Вешают тебя всю жизнь, вешают, да не повесят: бьешься, как на колу.

На минуту наступила в комнате тишина. Слышался лишь стук ложек о зубы едоков, точно стадо овец проходило по замерзшей пашне. Злоба и отчаяние сверкали в глазах бобыля и его брата. Их темные лица не вещали ничего доброго. Дети же лежали с раскрытыми от испуга глазами и слушали.

— Тяжело дело нашего народа, — сказал Реммельгас, наконец. — Если бы у более широкой массы было больше образования, понимания...

Он остановился. Бобыль взглянул на него со злостной усмешкой.

— Образование, понимание... — усмехнулся он. — Нечего и понимать-то, разве только то, что тебе есть хочется. О, это и каждый дурак поймет. А откуда достать пищу, — вот этого не знаешь. Образование! Образование будто теперь всем доступно. Какое там образование может получить бедный человек? Вон оно! — он указал ложкой на ряд детей. — Велико ли их образование?! Ха-ха-ха! Пословица правильно говорит: кто богат, тот и умен. Бедняга только и знает, как складывать пять да пять, и что у него десять пальцев, которыми необходимо работать. Нет смелости, нет ума. Богатый же сумеет так тебя обделать, что ты и не поймешь, как твои медные пятаки в его кошелек катятся. Иногда и сам над этим посмеешься, как ловко тебя обманывают.

— Чего там смеяться! — вставила хозяйка, — рубашки нет на теле и каши в нутре: гол и беден, как полевая мышь.

Младший брат хотел что-то сказать, бросил, однако, ложку сердито на стол, сел в угол и стал развязывать лапти. Один за другим падали на пол покрытые грязью лапти, за ними последовали и грязные портянки.

Любопытные и пугливые глазки детей больше уже не сверкали; дети спали...

IV

До сна у взрослых снова пошли разговоры.

— Эх, иногда взбредет на ум, — сказал бобыль, — что брошу здесь все, поеду в Сибирь, поищу себе клочок земли и поживу, как подобает человеку. Но эти вши висят на шее. — Он намекнул на жену, детей и старика. — Будь я один, давно бы исчез отсюда. Но куда пойдешь с такой оравой? Нет и денег на дорогу. Сам дополз бы хотя на всех четвереньках, а им как быть?!

Все уже легли, лампу загасили, в воздухе стоял керосиновый угар.

Реммельгас улыбнулся на своей постели.

— Сибирь ведь тоже не обетованная земля, где текут реки молока и меда, — сказал он.

— Во всяком случае, там лучше, чем в этом аду, — ответил бобыль.

— Там душевой надел, детишки... своя земля... — задышался старик.

От внутреннего возбуждения чувствовалась дрожь в его голосе, будто он огласил что-то такое, что всю жизнь таил в душе, — огласил свою драгоценнейшую, величайшую мысль. Душевой надел! Какое слово! Оно означает лошадь, корову, свой очаг, освобождение от налогов, освобождение от изнуряющей кабалы... Душевой надел! Какое грустное слово, звучащее в самые тяжелые времена неурожаев и забот, как траурный

звон. Дети бегали в одной рубашке на деревенской улице, говорили: «Когда отец получит душевой надел, тогда он мне купит сапоги и мать сошьет штанишки». Дети подросли, ходили на отработки, — говорили о душевом наделе. Люди состарились, умирали, но последний вздох был: душевой надел. Целые поколения подрастали в надежде, что когда-нибудь да будет «казенная земля». Меняли и вероисповедание, чтоб только получить землю.

— Душевой надел... — вздохнул старик. — Ушел бы отсюда... в Сибирь... в Крым... в Самару... Лишь хватило бы сил. Было бы свое поле, не было бы помещика... Ох-ох-ох!.. Всю жизнь ждал...

— И в Сибири ничего не выйдет! — сказал младший брат. — Найдутся повелители, не бойся, хватит. Все равно на этом свете вертись. Иди в такую даль, в чужой народ, там, что ли, слаще умереть с голоду, чем здесь. Лучше уж здесь бери дубину и попробуй, добьешься хлеба или нет.

В темной комнате было тихо. Воздух был тяжел, пропитан парами. Было душно.

— Все от бога, от бога крест нам... от бога господ... — стонал старик. — От бога... за грехи...

Голос старика погас в шопоте.

Никто ему больше не ответил. В мозгах каждого из них вращался темный, тяжелый вопрос: почему в жизни столько забот, бедности, голода. Когда этому будет конец... Неужели нет больше никакой надежды...

Мысли роились в голове и жгли, но не было никого, кто бы дал ответ на эти тяжелые вопросы. Мысли роились в голове и жгли, пока не рассеялись и погасли. Усталые люди уснули.

Только Реммельгас поворачивался с одного бока на другой, коротал все одну и ту же мысль. Он понял,

что семья бобыля не понимала его и он не понимал их.

В чем кроется причина этой жалкой жизни? — пытал его утомленный, сонный мозг. Задумались они когда-либо над этим?

Помещик будто эксплуатирует. Но разве он хищный зверь, что у него нет человеческого сердца в груди? Бобыли могли бы его раз позвать к себе и сказать: посмотрите, барин, как жалка наша жизнь, как тяжки наши повинности и как негодны наши поля! Облегчите вы, потому что другого облегчителя мы не имеем. Неужели он после этого тоже не помогал бы им. Ведь он же человек. Он мог бы себя вообразить в положении бобыля. Тогда он пожалел бы их, задумался бы и помогал бы им впоследствии на самом деле...

Нужно было бы, чтоб между помещиком и его батраками была живая связь, было бы больше дружбы, товарищеских отношений, живут ведь они оба одним и тем же полем... Необходимы образование и самосознание, — это самое главное. Тогда изменились бы обстоятельства, тогда всем хватило бы хлеба и пришел бы конец бедности и всем невзгодам.

Все отраднее стали мысли Реммельгаса и казалось, что так легко преобразовать мир, нужно только твердо желать.

Но под конец мысли рассеялись в беспорядке и человек уснул у теплой печи.

Вокруг тяжело дышали. Дети бредили во сне.

Через час или полтора Реммельгас внезапно проснулся и вытянулся. Сон был тяжелый, болезненный, у него ломило кости.

Через четырехугольное окно виднелись вдали, в топкой равнине, отдельные желтые огоньки, как

хитрые глазки маленьких домовых посреди бездонного оврага. Там, в этих лачугах, еще не спали, еще работали...

Какая глухая, темная осенняя ночь! Где-то в вязкой равнине сидят люди с ноющими спинами в лачугах и работают... чтобы лишь насытить свой желудок... этот неизмеримый, жадный желудок...

Югану Реммельгасу показалось, будто вся поверхность земного шара — бесконечная грязная равнина. На этой равнине разбросаны крошечные глиняные лачужки и шалаши с красновато-желтыми четырехугольными окнами. С черного пустого неба моросит холодный дождь. На земле же блистают большие лужи грязи и в лачугах работают при свете желтых огней согбенные люди...

Все еще идет дождь... все еще дрожат и мерцают желтые огни... и вечно трудятся люди...

Когда Реммельгас вторично проснулся, огни на равнине уже погасли, но восходящая из-за леса луна, желтая, кровавая, как глаз лютого зверя, выслеживала, живет ли еще кто-либо... Реммельгасу показалось в испуге, будто глаз этого зверя все приближается и стоит теперь над самой равниной — желтый, кровавый...

V.

Когда едва рассветало, семья встала. Все чувствовали себя еще усталыми, разбитыми, сонными. Сопя и негодуя, надевали оборванные, полугнилые лохмотья, обматывали ноги грязными портянками.

Ели то же, что накануне. Младший брат вскинул топор на плечо и пошел куда-то на работу. Бобыль также взял суму на спину и направился к мызе: осталось отработать еще несколько дней.

Реммельгас пошел с ним, — было по дороге.

— Вон они, поля наши! — начал бобыль немного погодя, указав рукой на равнину. — Разрыхлены, как в скотном дворе. Весной и осенью проваливаешься, при посеве ходишь по колена в грязи. Не даром их дали бобылям, значит, земля никудышная. А обрабатывать ее надо, если не хочешь умереть с голоду.

— Не найти ли какую-нибудь другую работу... Все равно что... лишь бы полегче и повыгоднее, — заметил Реммельгас.

— Другую? Остается только пойти в батраки к помещику, больше некуда идти. Но туда пойду лишь тогда, когда уже веревка на шею накинута... Раз человек катится под гору, ни один чорт его не остановит. Не думайте, что я всю жизнь был бобылем. Нет. Был я когда-то тоже арендатором участка. При женитьбе получил двести рублей, у самого тоже было маленькое сбережение с времен холостой жизни. На эти деньги и взял участок. Но куда с такой дрянью! Аренда высока, цены на хлеб низкие, неурожайные годы... Три года бился. К тому времени ничего не осталось как только кое-что из вещей обихода. Что ж поделать, — пошел в бобыли. Здесь несешь эту кабалу изодня-в-день, из-года-в-год, но видишь, как опускаешься все ниже и ниже. Рабочий скот давно исчез, телеги, сани исчезают, даже одежда изношена до лохмотьев, нового же взять негде. Идет нищета. Держись хоть зубами, — идет себе и идет. Ничто не поможет. Чувствуешь, будто утопаешь постепенно в тине, барахтаешься и кричишь. От барахтанья опустишься еще глубже, но никто не бежит на помощь...

— Долго еще так мучиться? — сказал Реммельгас.

— Долго ли? Придется все-таки пойти в батраки. Но это самое последнее. Оттуда нет возврата, будешь

как прикованный, и если выберешься, то только в богадельню, раз волость примет... На собственные ноги больше не встанешь. Сейчас я здесь еще бобылем, держусь еще на веру. В другом месте и на это сил не хватит. Боишься поэтому и тронуться с места.

Шагали в раздумье по изрытой дороге в утренних сумерках.

— Сейчас брат мой еще о многом размышляет, — сказал бобыль немного спустя. — Но пусть возмужает, женится, пойдут дети, испортится здоровье, — тогда посмотрим, высоко ли полетит. Пойдет в батраки, как и я. С голыми руками далеко не уедешь!

— Не поправилось бы дело, если бы землю удалось получить с меньшим трудом? — спросил учитель.

— Конечно, поправилось бы. Но откуда и как с меньшим трудом? Нужны же средства. Купить я не смогу. Арендовать? Что ж, я и сейчас арендую. Но это не аренда, это — болтаться на виселице. На выкуп много денег нужно; с арендой было бы другое дело, лишь бы налоги иные. Говорят, что если арендовать у казны, или если арендную плату, которую дерет помещик, как-нибудь определить законом, что ж, тогда, конечно, было бы легче. То же и с душевым наделом... Больно долго мы его ждем... Но кто его даст!

— С душевым наделом ничего не будет! — махнул Реммельгас рукой. — И если дадут, все равно не прокормит!

— Наверно наделы слишком ничтожны или налоги слишком высоки, — заметил бобыль. — Но, говорят, будто в Сибири... будто там людям, ух, как живется! Когда окончательно надорвусь, пойду сам тоже туда... Лишь хватило б средств... Только дойти-то не в моготу...

Темные, грызущие мысли о голоде, назревшие в течение многих лет, роились в возбужденном мозгу, бились и искали в потемках выхода. Но выхода не оказалось. Угрожающим призраком стояли батрачество и богадельня перед глазами. Их не миновать. Минуешь их лишь тогда, если в один прекрасный день попадешь под воз, или, ходя на барском поле за плугом, лошадь тебя ударит на смерть, или настигнет внезапная смерть, вроде удара, и покончит с тобой. Тогда семья разбредется по белу свету... Жена угаснет в богадельне, детей волость отдаст в пастухи. Старик помрет в яме около большой дороги. Дети подрастут; молодые и смелые, налаживая жизнь, они витают в облаках... но, увы, ожидает их та же участь бобыля, труд, заботы и нищета и под конец богадельня. И так без конца, как сказано: «кто создан рабом, тот рабом и останется», или «кто создан для кабалы, тот пусть и трудится».

— Так, — сказал бобыль вдруг, точно просыпаясь от дум. — Буду ли в Юрьев день еще здесь или нет — не знаю. Барин угрожает, что надбавит аренды. Он говорит, что мы и глупы и ленивы и поэтому не сведем концы с концами. Угрожает снять избы бобылей и земли отвести имению. Разгонят нас, тринадцать дворов, на все четыре стороны. Нового хозяйства не заведешь, — нет средств. Брат тоже хочет уйти, пойти в город, — авось устроится на фабрике. Что будет? А искать нового места и не сумеешь. Как быть темному и невежественному человеку: кроме своей околицы ничего и не видал, обратиться-то никуда и не умеешь. Может, в другом месте и земли получше и рента подешевле, но кто тебе это скажет.

— И в другом месте не лучше! Хорошо там, где нас нет! — вздохнул Реммельгас.

Рассветало. Дождь перестал ночью. Всюду блестели широкие лужи. Пожнив и пашня утопали в воде. Голый лес стоял уныло. Из мокрого ольховника донесся стук. Там кто-то рубил молодые сучья.

— Вот оно, наш лесосек, — начал бобыль опять, указывая рукой по направлению кустов. От мызы получаем три сажени хвороста, большей частью это ольховый и осиновый кустарник. Пока растет — сырой, срубишь и сложишь в груды — затлеет и гниет, но не высыхает. Куда с таким! Под котлом то и дело визжит, дымит да коптит. Да пусть помещик после всего этого не пожалуется, что бобыли лес воруют. Делать нечего, воруй, коли не хочешь замерзнуть.

— Разве иначе никак нельзя? Правдой?

— Правдой! В церкви хотя и проповедуют: «не укради». Бобыль во всяком случае такой заповеди не придумал. Это дело рук помещика. Он тебя обманывает, ты — его. Помещик меня обманывает, почему мне нельзя ответить тем же? Его считают за такое объегоривание искусным хозяином, меня же сажают за воровство за решетку. В этом вся разница. Только то и делают, что угрожают, будто после смерти будет за все зло жестокая кара. Что будет потом — неизвестно, того никто еще не видел. Но одно необходимо отметить: если что будет, то эти ушататели, попы и тому подобное, больше всего должны бы бояться. Но что-то не так. Вот это-то и наводит сомнения.

— Но вера... — начал было Реммельгас.

— Что хорошего от нее? Прокормит, что ли? Верить и исполнять приказания может только тот, у кого есть что жрать. Мне некогда выждать, пока на небе накормят. Я хочу уже здесь, на земле, есть.

Дороги их расходились.

— Итак, до свиданья! — сказал Реммельгас.

— Вряд ли еще увидимся,—ответил бобыль, подавая свою жесткую коричневую руку. Ну, прощайте! Всяк человек идет своей дорогой... Прощайте, всего хорошего!..

Было уже довольно светло.

Реммельгас шел быстрым шагом в гору, навстречу все более розовевшему небосклону и задумался над своей жизнью и над горбатым бобылем. Чем дальше он шел, тем более он освобождался от этого угнетающего чувства, которое тяготело над ним в присутствии бобыля. «Здесь какое-то недоразумение, — подумал он, — какое-то неправильное понимание жизни. Но это недоразумение необходимо преодолеть, необходимо побороть все эти неправильные понятия». Сказка жизни, сплетающаяся в голове юноши, стала все светлее, все привлекательнее, и юноша подумал: «Неужто у земного шара на самом деле нет рычага, за который его можно поднять».

Он вспомнил слова бобыля: «Тогда посмотрим, высоко ли полетит. С голыми руками далеко не уедешь!».

Глупости! Надо выбраться, надо! К чему так мучиться. Надо выбраться, надо!

VI

Но они все-таки повстречались. Только с тех пор прошло два-три года. Их нары были рядом. Уже несколько дней жили они вместе, не узнав друг друга. Раз вечером сидели они оба на окне и смотрели сквозь толстую, поржавевшую решетку на город, где воцарилась суровая снежная зима. Тогда сказал бобыль:

— Не ходили ли вы несколько лет назад в Куркальм искать место учителя?

— Ходил. А что?

— Ну, вот! Мне казалось с самого начала, будто я вас раньше видел. Вы в тот раз у меня ночевали.

— Что вы? Вот так встреча!

И весь этот вечер и еще много дней подряд было у них много-много разговоров.

— Нищета все возрастала,—рассказывал бобыль...— Многие говорили, что дадут землю, что распределят помещичьи земли. Были и мы в движении: хотели земли. Как же жить без земли? Раз живешь полем, нельзя же подобно зайцу грызть кору осины и этим жить. Ну, подумали и мы, что раз будет земля, тогда всей беде конец. Пошли мы в мызу, сказали барину: вот так и так, — распередели землю. Какой тебе от нее толк, и без нее столько денег, что хоть свиньям спать в кредитках. Нам же ни есть нечего, ни одеваться нечем. — Ну, говорит, особенных возражений и нет у меня на этот счет, но дайте подумать. Думал он да думал, а через два дня в мызе было десять казаков. Чесали мы себе тогда затылки: чорт тебя побери! Добром, видно, не дашь. До тех пор обещаешь, пока сила на нашей стороне, но как только ты у власти, тогда мы с носом останемся. Ну, пошли толковать, что если ты, проклятый, не дашь, то даст казна или заберем сами.

Началось движение и в других местах и пошло, как дым. И к нам пришла кучка людей, — музыканты, мальчишки во главе, за ними другие верхом на лошадях, с красными флагами за плечом и поют:

Мывы горят,
Господа гибнут,
Леса и земли наши...

Выбивали в погребе у винных бочек донья, перебили в господском доме вещи и подожгли. Сами же шли с пением дальше.

Ну, подумали мы, более удобного случая не выберешь: господа удрали, мыза пустует, давайте, распределим земли. Пока казна примется за переделы и очередь дойдет до нас, тем временем уже давно будет весна, не успеем засеять во-время поля. Да, поди, знай, как казна распределит, почем ей знать, кому сколько нужно или какой клочек получше, какой похуже, пойдут еще ссоры да споры, лучше уж сами этим позаймемся. Что-ж, вышли в поле, распределили землю, поставили граничные межи: вот, Як, это тебе, а это, во, Март, тебе... Ну, хорошо да ладно, нечего сказать, лишь бы без господ да хлопот, — не на что и жаловаться.

— Но чем же дело кончилось? — спросил Реммельгас с любопытством.

— Чем оно кончилось! На другой день прибыли войска. Брата моего повесили; двух мужиков расстреляли; остальных схватили за шиворот, вытянули и высекли, каждому по двести-триста розог. Вот тебе и душевой надел! Но нужен же он... ой, как нужен! Но как его получить-то?

— В чем же всех вас обвинили?

— Мы будто подожгли мызу, мы — бунтари. Но какие мы бунтари! Земли жаждем. Помилуйте, нужно человеку есть, но откуда это взять-то? Нельзя захотеть есть, — сейчас бунтарь...

И весь вечер Реммельгас слушал горестный, вздыхающий рассказ бобыля о земле, о том, что она нужна, но что ее никак не раздобудешь... Лежали они рядом и смотрели в закоптелый потолок своей камеры. И когда они молчали, то каждый из них задумывался над своей разбитой жизнью и над мрачным, неизвестным будущим.

— А почему вас привели сюда? — спросил бобыль Реммельгаса в бессонную ночь, когда на душе была непонятная тоска и пустота.

— Я тоже «бунтарь», — усмехнулся Реммельгас горько. — Думал я совершить многое, когда стал учителем. Но много ли сделаешь, когда связан по рукам и ногам? На каждом шагу я наталкивался на инспекторов и попов, на приказы и запреты. Гнали с одного места на другое, как прокаженного. Чуть не проглотила меня эта лужа. Понял я в конце концов, что нельзя просвещать народ, когда этого не смеешь делать, когда этого не хотят другие. Тогда я взялся за работу с другого конца, и... теперь я здесь...

В раздумье лежали они на тюремном соломенном тюфяке, где странная судьба их свела.

Тускло в тюрьме, скучна и однообразна в ней жизнь. Все желания гаснут, человек опускается все больше и больше. Тоскливо жить так, когда дни похожи на ночи, а ночи не отличаются от дней. Тогда ждешь в своей жизни перемены, — хотя бы к худшему, лишь бы это была перемена.

Заключенные ждали и перемены назревали.

Реммельгаса, столь любящего свет и свободу, отослали на далекий север, где так холодно, что и самые горячие мечты должны остыть.

В одно утро вывели и бобыля перед рассветом из тюрьмы, и человек, который всю свою жизнь жаждал земли, — не заяц же он, чтоб питаться корой осины, — получил ее, наконец, наконец-то!

Семь футов в длину, четыре в ширину...

Да нет же, нет, кто им даст столько земли: троих зарыли в одной могиле...

S. YNGMANN
«Hännätön wasikka»

S. YNGMANN

БЕХВОСТЫЙ ТЕРНОК

Издательство «Лесное хозяйство»

№ 10

Содержание
1. Бехвостый тернок (S. nemoralis L.) — вид, распространенный в Европе и Азии. Он растет в лесах, на опушках, в парках и садах. Цветет в мае-июне. Плоды созревают в августе-сентябре. Бехвостый тернок — ценный медонос. Его пчелы используют для выработки меда. Кроме того, он является хорошим кормом для птиц и животных. В народной медицине бехвостый тернок применяется для лечения различных заболеваний. Его плоды обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Также он используется для приготовления настоев и отваров. Бехвостый тернок — это красивый и полезный вид растения, который заслуживает внимания садоводов и любителей природы.

Уездный городок П. принадлежал к числу далеко не последних городов в нашей стране. У него была даже своя собственная газета и собственная типография. А ведь есть еще у нас города, в которых нет ни того, ни другого.

Да, в этом городе была типография, совсем новая, устроенная по образцу заграничных типографий новейшего типа. Однако, эта типография обладала одним недостатком — в ней нечего было печатать. Для газеты она была занята всего лишь два вечера и два утра в неделю, а в остальное время машины стояли без всякой пользы и покоились обильно смазанные маслом. Что же касается наборщиков, молодых парней, то они шлялись без всякого дела, хотя и получали приличное жалованье. От безделья они пили, возбуждая всеобщее недовольство и пересуды.

Ну, разве это не ужасно?

Акционерное общество, которому принадлежала типография, уже два раза устраивало заседания по поводу бездействия типографии. Судили да рядили так и этак, делали те и другие предложения, обсуждали уже ранее сделанные предложения, отвергали их, но так ни к какому результату и не пришли. Факт оста-

вался налицо: четыре дня в неделю типография бездействовала. Снова акционеры собрались на заседание, но, повидимому, и это должно было окончиться так же плачевно, как и предыдущие. Никто не мог найти для типографии такой работы, которая могла бы удовлетворить всех акционеров, — каждое предложение встречало то или иное возражение. Наконец, поднялся кожевник Нийранен, — он также состоял акционером, но до сих пор не считал себя достаточно просвещенным для того, чтобы принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся литературы. Он сказал:

— Какой смысл иметь типографию, которая стоит без работы, и какая польза от такого правления, которое собирается два раза в месяц и никогда не приходит ни к какому решению? Я никак не могу понять, почему не годится всякая работа для типографии? Тем не менее я делаю одно предложение, которое не должно было бы, кажется, встретить никаких возражений. Я предлагаю с самого начала напечатать азбуку.

Азбуку?.. Это было нечто новое! Мысль кожевника встретила, действительно, полное сочувствие среди заседавших.

— Что касается меня, — заявил почтмейстер, который обыкновенно на все возражал и все браковал, — то я усердно поддерживаю это предложение. Я только позволю себе прибавить, что было бы желательно иллюстрировать эту азбуку картинками, выписанными из Германии.

— Я также не могу не выразить сочувствия этой удачной мысли, — заметил купец Рихканен. — Предприятие это никоим образом не может быть убыточным. Напротив, со-временем оно принесет хороший доход. Расходы же по печатанию не будут велики, если даже заказать картинки в Германии. Да и гонорар

авторам не составит большой суммы. Ну, а спрос на такой товар будет не меньше, чем на листовую табак.

Учитель народной школы Посио, смотревший на все с более высокой и идеалистической точки зрения, чем кто-либо другой из заседавших, тоже выразил свое одобрение.

— Я нахожу, — сказал он, — что все мы должны быть глубоко благодарны уважаемому господину Нийранену за его удачную мысль. Теперь нам остается только энергично приступить к ее осуществлению. Ведь мы еще новички в деле распространения света среди народа, а потому вполне естественно, что мы должны быть непритязательными и начать дело с самого начала. Однако, предприятие это вовсе не такое маленькое, — напротив, оно такого свойства, что...

Он увлекся своим красноречием и говорил долго. Потом сочувственные речи произнесли также и директор школы, и фискал, и даже доктор, хотя последний и ухмылялся себе в бороду.

Председатель правления, единственный коммерции советник в городе, спокойно и терпеливо слушал все-стороннее обсуждение вопроса, а секретарь усердно заносил все в протокол. Наконец, когда в обсуждении наступил маленький перерыв, председатель поспешил воспользоваться им, встал и сказал:

— Нам было сделано весьма ценное предложение, к которому все отнеслись сочувственно. Повидимому, никто ничего не имеет возразить на него. А потому я позволю себе задать следующие вопросы: решено ли начать с самого начала?

— Да, с самого начала.

— Значит, решено печатать азбуку? Азбуку с картинками?

— Да.

— И картинки закажем в Германии?

— В Германии.

Председатель стукнул по столу кулаком и вытер пот с лысины. В конце-концов было принято единогласное постановление, и все почувствовали облегчение, так как начало в этом трудном деле было сделано. Всеми овладело бодрое настроение, все испытывали чувство удовлетворения от сознания, что они на что-нибудь годятся, и это сознание родило смелые упования на будущее. А потому, — после того как была избрана комиссия из пяти членов и двух заместителей, — было единогласно решено отправиться в ресторан, чтобы там выпить стакан вина за процветание нового предприятия.

Прошел месяц, прошли два месяца. Текст для азбуки был написан, — к старому подмешали кое-что новое, картинки, заказанные в Германии, были присланы. И снова собрались на совещание члены правления акционерного общества. На этом заседании комиссия предполагала сделать доклад, и затем правление должно было вынести окончательное постановление.

Были получены уже штук десять готовых форм для картинок, так-называемых клише, оставалось только их напечатать. На эти-то картинки члены правления и обратили сейчас же свое внимание и начали высказывать по поводу их свое мнение. Между прочим, одна из картинок изображала Иосифа, пасущего стадо.

— Посмотрите-ка, тут рогатый скот — бараны, коровы.

— Да. А вот и теленок, он скачет по лугу и хвост у него стоит дыбом.

— Верно, верно! Хвост стоит дыбом, только слегка изогнут.

— Собственно говоря, лишнее изображать теленка в таком неблагопристойном виде, с задранном хвостом. Нельзя сказать, чтобы эта картинка была красива. — Это мнение высказал почтмейстер, обладавший склонностью все осуждать.

— Это, действительно, совершенно неуместная шутка в серьезном деле, — добавил директор школы.

— Это не только неуместно, это прямо-таки неприлично! — заметил Посио. — Это оскорбляет не только чувство прекрасного, но также и чувство стыдливости.

«Есть чему оскорбляться, — подумал кожевник Нийранен. — Велика беда, если хвост у теленка повернут так или сяк». Он передал картинку директору и сказал:

— По-моему картинка хороша, да и хвост также хорош.

— Ну, а я придерживаюсь совершенно противоположного мнения. И, откровенно говоря, я не могу даже понять, как могли послать такую безнравственную картинку для детской книжки! — сказал директор и, с раздражением положив картинку на стол, ткнул пальцем как-раз в то место, где был изображен хвост теленка. — Мы никоим образом не можем допустить, чтобы что-либо подобное было напечатано в нашей азбуке. А потому я предлагаю вовсе не печатать эту картинку.

— Нет, так нельзя, — возразил купец Рихканен. — Мы заказали картинки в Германии, заплатили за них наличными деньгами и неужели же все это только для того, чтобы выбросить их? Ну, на что это было бы похоже?! Раз картинки куплены, их следует продать. Что же касается телячьего хвоста, то мы его выкинем вон и вовсе не напечатаем, раз уж он так плох. Чего же проще?

— Тогда у нас в книжке будет бесхвостый теленок, — заметил учитель, не поднимая головы.

— Ну, да. Так что же из этого? По крайней мере в этом нет ничего непристойного.

— В том, что мы изобразим бесхвостого теленка?

Председатель недоумевал, в какой форме предложить вопрос на голосование. Но тут встал доктор.

— Да ведь это какое-то навождение! Вполне естественно, что теленок изображен с поднятым хвостом. Не надо забывать, что это — молодая, жизнерадостная скотинка, которая резво скачет по лугу. Было бы неправдоподобно изображать резвого теленка иначе. Нельзя не отдать должное вниманию и тонкой наблюдательности художника. Было бы форменным безумием только из-за этого бросить картинку, а отрубать теленку хвост и глупо и смешно! В настоящем виде картинка красива и естественна.

— Естественна? О, да, конечно, естественна, — сказал директор, раздражавшийся все больше и больше. — Но уместна ли тут естественность? Ведь, кажется, вполне естественно, когда собака чешет себе бок лапой или когда свинья валяется в помоях, но разве задача искусства заключается в том, чтобы изображать это? И разве такое искусство можно предлагать детям и простонародью? Я позволю себе только спросить это.

— Ну, ну, — произнес успокоительно почтмейстер, главный виновник вопроса о телячьем хвосте. Он никак не думал, что к этому вопросу отнесутся так серьезно, а кроме того он вообще был непостоянен в своих суждениях. — Совсем незачем видеть в этом нечто некрасивое или непристойное. Да и дети не увидят в том, конечно, ничего такого. И уж если на то пошло, то не надо забывать, что дети каждое лето видят телят, которые вот так же скачут и прыгают по

лугам и на скотном дворе. Ну, и едва ли им повредит, если они увидят такого теленка и на картинке.

— Едва ли повредит! — воскликнул Посио, подчеркивая слова. — Я нахожу, что мы ложно поняли нашу задачу... И вообще было бы гораздо лучше, если бы мы не принимались за печатание азбуки и каких бы то ни было книг, раз мы собираемся распространять такое неприличие! И среди кого? — спрашиваю я. Среди простонародья! Среди этих неиспорченных душ мы собираемся распространять всякую мерзость и грязь! Так неужели же мы, действительно, поставили себе целью испортить этим детям их чистое и счастливое детство, а этим самым всю будущность нашего народа и поколебать его нравственные устои?

— Конечно, нет ничего хорошего или похвального в том, что теленок так задирает свой хвост, — согласился и кожевник Нийранен. — Но мне кажется, что в данном случае это не так уж опасно, потому что ведь это просто теленок, какой-то двухнедельный сосунок, от которого нельзя ожидать большого жизненного опыта. Другое дело, если бы это был взрослый бык или если бы это была старая корова... Ну, а теленку это простиительно, и мы можем отнестись к нему снисходительно...

— О-го! — воскликнул фискал Спетс. — Разве это порядок? Разве благопристойно, когда какой-то теленок позволяет себе задира́ть хвост? Чего же после этого ожидать от других? А если еще это показывать детям, то какое представление составят они себе о порядке и о благопристойности?

— Я только-что сказал и повторяю, что это настоящее навождение, — заявил доктор. — Серьезные люди сидят здесь и рассуждают часами о каком-то телячьем хвосте! А к этой чепухе приплетают порядок и благопристойность! А ведь у нас есть дела и посерьезнее,

дела не терпящие отлагательства. Бросимте же, наконец, этого несчастного теленка!

— Теперь вопрос идет не об одном только телячьем хвосте, а о тех основах, на которых построено наше общество и согласно которым мы должны действовать в деле распространения просвещения и культуры, — заявил громогласно директор, приходивший все в большее и большее возбуждение. — Мало того, вопрос идет о гораздо более важных принципах, из-за которых уже началась междоусобная борьба даже и на Финском полуострове. С одной стороны, борются за благородные идеи и за служение свету и истине, с другой стороны, отстаивают мрак и испорченность и под прикрытием идеи невинного подражания природе и естественности стараются внести заразу и в наше мирное, невинное акционерное общество. А потому я считаю своей обязанностью предостеречь наше общество от этой отравы, она может погубить всю нашу прекрасную работу!

Доктор беспокойно зашевелился на своем месте. Председатель заметил это. Он и так находил, что прения приняли нежелательную форму и размеры. А потому он решил положить этому конец.

— Я позволю себе напомнить собранию, что не следовало бы придавать прениям слишком широкий характер и уклоняться в сторону, потому что таким образом мы никогда не дойдем до какого-нибудь результата. Вопросы должны быть решены каждый по очереди. Насколько я понимаю, в первую очередь мы должны решить вопрос относительно картинки, относительно этого... как его... телячьего хвоста. Не так ли?

— Совершенно верно.

— По этому пункту было сделано два предложения: во-первых, вовсе не печатать этой картинки, а во-вто-

рых, не печатать только хвост теленка. Но, насколько я понял, последнее предложение не нашло сочувствия.

Фискал Спетс попросил слова.

— А я как-раз хотел отстаивать это предложение, — заявил он, — но не успел высказать свое мнение. Ведь в сущности хвост-то и представляет собой неприличный пункт в картинке. Так неужели же из-за хвоста выбрасывать также и Иосифа со всем его стадом?

На это кожевенник Нийранен возразил, что он вообще против бесхвостых телят и всяких других убогих скотов. Почтмейстер был того же мнения. И снова вспыхнули прения. Учитель народной школы опять стал на высокую точку зрения и с этой высоты стал разъяснять, какие опасности грозят народу и родине, если бы эти прения привели к нежелательному результату. В пылу разгоревшегося спора директор высказался в том смысле, что те, кто защищает грубость и безнравственность в мелочах, как нечто естественное и повседневное, не заслуживает доверия в более серьезных вопросах, потому что их понятия о приличии и стыдливости весьма смутны.

Эти слова окончательно вывели из себя доктора.

— Да, а такая стыдливость, — воскликнул он с раздражением, — которая краснеет от телячьего хвоста, в высшей степени подозрительна! Для чистого — все чисто. Но, оказывается, что для грязного тоже все грязно. Ибо каким грязным воображением должен обладать человек, видящий нечто безнравственное в том, что теленок, скачущий по лугу, поднял хвост! Такого представления никоим образом не может составить себе дитя народа. До этого может дойти только человек, который благодаря своей безнравственности развратил свое воображение и потому видит то, чего нет на самом деле.

Это было слишком. Председатель остановил оратора и попросил его не касаться личностей, а также не распространяться дальше. Однако, директор уже встал и взял свою шляпу и палку. Уходя, он сказал упавшим, надломленным голосом, что с горечью в сердце видит, как дело, которое должно было приносить благословение, превратилось в проклятие. Но он умывает руки и заявляет, что выходит из числа акционеров, раз в этом обществе позволяют себе оскорблять человека, который корректно и без всякой злобы высказывает свои взгляды. Оскорбления эти таковы, что продолжать прения по поднятому вопросу можно только... в суде.

Он ушел. Вслед за ним покинули собрание учитель народной школы и фискал. Остальные остались. Но на всех тяжелым гнетом легло сознание, что надеждам на дружескую, совместную работу не суждено осуществиться. Все чувствовали мучительную неуверенность в будущем.

И во всем этом был виноват телячий хвост.

Да и вопрос-то этот так и остался открытым. Налицо оставалось два или, вернее, три настолько противоречивших друг другу мнения, что председатель не решился еще раз предложить их на голосование, потому что это могло бы нанести обществу смертельный удар. А потому окончательное решение было отложено до следующего заседания, тем более, что было уже далеко за полночь и надо было расходиться. Только Нийранен настоял на том, чтобы были запрошены другие лица, не имеющие отношения к их акционерному обществу, и чтобы они высказались по вопросу, вызвавшему разногласия.

Между прочим были запрошены бургомистр и пробст. Через несколько времени от них пришли письменные ответы.

Бургомистр ответил, что если бы когда-нибудь по улицам города бегал теленок, подняв хвост кверху, и если бы кто-нибудь посторонний, приехавший из широкого света, увидел его, то это, конечно, было бы не к чести города. Но такая картинка в детской книжке, предназначенной для простого народа, едва ли может быть вредна.

Что касается пробста, то он ответил, что не нашел в библии такого места, где говорилось бы с неодобрением о чем-либо подобном, а потому он думает, что такая картинка допустима. Ибо если бы это было запрещено, то об этом где-нибудь упоминалось бы.

После всех этих мероприятий азбука была, наконец, напечатана и выпущена в свет для распространения просвещения и культуры. Таким образом, хвост остался при теленке. Однако, директор, учитель народной школы и фискал позаботились о том, чтобы на них не пало и тени какой-либо ответственности: они продали свои акции тем, кто больше всего за них дал.

В то время как происходило затянувшееся до ночи заседание, на котором боролись из-за телячьего хвоста, жены заседавших томились дома в ожидании мужей. Они недоумевали, почему те так долго не возвращаются. Лишь бы они не вздумали опять пойти в ресторан, чтобы там отпраздновать какое-нибудь удачное решение. Ах, уж эти мужья! Докторша подумала про себя, что теперь вот так же сидит дома директорша и ждет мужа. Что если ее спросить по телефону, — ведь в городе П. существовал даже телефон, — что если спросить ее, не возвратился ли уже ее муж? Бедняжка, в своем волнении она не подумала о том, что не всегда бывает удобно говорить по телефону и не всегда получаешь ответ! Да и не подозревала она,

что добрые отношения между их семьями порывались или даже были уже порваны.

Однако, очень скоро она, как и все другие, узнала это, а рано утром эта весть разнеслась по всему городу. Но почему произошел разрыв между доктором и директором — этого никто достоверно не знал. Правда, говорили, что причиной их ссоры был телячий хвост, но люди серьезные предполагали, что тут крылась какая-нибудь более глубокая причина.

Еще меньше других знали об этом служанки в городе П., и тем не менее они часами простаивали на рынке и у колодцев и болтали о замечательном происшествии. Они знали только, что причиной ссоры был бесхвостый теленок. Эти два слова постоянно слышались во время их болтовни. Впрочем, эти два слова всю осень пользовались необычайной популярностью в городе П., их повторяли и стар и млад, а это и неудивительно, потому что они-то и были причиной великого переворота во внутренней жизни города.

Подобно тому как поссорились директор с доктором, поссорились и другие соседи. Так, кожевник Нийранен вступил во вражду с фискалом Спетсом, хотя сами они и не знали истинной причины своей вражды. Так пришлось, и тут уж ничего нельзя было поделать. Дворы их были смежные и их разделял только забор и раньше их дети всегда играли вместе то на одном дворе, то на другом. Теперь же и между детьми была объявлена война, и они часто ссорились на улице у ворот и кричали друг другу через забор: «бесхвостый теленок!» Даже маленький четырехлетний карапуз Нийранена — Эро вскарабкался на боченок у забора и, размахивая палкой, кричал:

— Бесхвостый теленок! Бесхвостый теленок!

Я. КОЛАС

„КОЛЛЕКТИВ“ ПАНА ТАРБЕЦКОГО

Перевод с белорусского
И. Б.

Якуб Колас (он же Тарас Гушча) — один из старых и наилучших белорусских поэтов и прозаиков. Как поэт, Я. Колас дал ряд больших поэм (из них самые яркие «Новая земля» и «Сымон Музыка»), в которых широко развернул быт и психологию белорусского крестьянства. В своих прозаических вещах Я. Колас этот показ белорусской деревни углубил большой художественной наблюдательностью и юмором. Одновременно с тем Я. Колас является в современной белорусской литературе самым колоритным бытописателем деревенской интеллигенции и городской мелкоты: бывших чиновников, торговцев, мещан, людей, выбитых из социальной колеи, попов, злословящих обывателей и т. д.

В прошлом году ЦИК Белоруссии наградил Коласа почетным званием народного поэта республики.

„Дядька Тарас искал трубку. Злобы набрался, и жавши, а трубки никак найти не мог. Тогда сказал ему племянник: „Дядька, плюнь!“ Дядька Тарас плюнул и трубка выпала изо рта“.

(Из рассказов покойного Дзынгалы).

I

Несколько слов относительно заголовка моего рассказа.

У нас паны, как известно, не в почете. Но если кто назовет пана Тарбецкого гражданином, то Тарбецкий скривится, а скажешь «товарищ Тарбецкий» — отвернется и говорить с тобой не будет. А назовешь «пан Тарбецкий», тогда глаза его посмотрят кротко и он станет другим человеком. Отсюда и выходит, что его следует называть «пан Тарбецкий», как это и сделал я. Человек он старый, а старость требует почета.

Уже день поднял занавес. Ибо подошло то время, когда земля по обязанности своей профессии должна приступить к спектаклю на сцене жизни. Первым, кто выступил в этот день на сцене, был сам пан Тарбецкий. Он только-что открыл колодец и стоял в двух шагах от него, вложивши руки в рукава красного тулупа.

В губах дымилась довольно солидная, заправленная в толстый мунштук сигара — собственная продукция пана Тарбецкого с его же собственной плантации. Недалеко от колодца на стене одного из трех домов пана Тарбецкого было написано его же собственной рукой: «Неуплатившим денег брать воду запрещается». Эта надпись свидетельствовала, с одной стороны, о том, что дело белоруссизации двинулось вперед, а с другой, — что хозяйский глаз пана Тарбецкого не дремал. В воротах мелькнула женская фигура с ведрами. Увидевши пана Тарбецкого, эта фигура остановилась на минутку, а потом повернула обратно, не заходя во двор.

— Уплатишь деньги, тогда будешь брать воду! — строго сказал пан Тарбецкий и не двинулся с места.

Стоял и размышлял. Размышлял пан Тарбецкий о том, почему теперь люди такие вредные. На своем дворе много таких людей, а тут с чужих дворов еще суют нос, не заплатив за воду. И глаза пана Тарбецкого сами поднялись на окна квартиры, где живет вот этот самый санитар, чтоб его хвороба взяла! Что сделал он с квартирой? Хлев, свинарник! Курей в комнате держит, квартиры не отапливает. В кафельной печке картофель свинье варит. И денег не только за воду — за квартиру не платит. И хуже всего то, что ничем не доймешь гада. Будь это раньше — разве терпел бы такого свинтуха?

С квартиры санитары глаза пана Тарбецкого перешли на окна другого квартиранта, соседа санитары, электромонтера. Это он впустил сюда увальня этого, грубияна. А теперь цацкайся с ним. Да и сам электромонтер платит сколько хочет. Профсоюзный, чтоб он пропал!

В то время, когда пан Тарбецкий смотрел на квартиры санитары и электромонтера, с квартиры противо-

положного дома, с самой голубятни, — называется она чердаком, — наблюдала за ним швейка Алена Мостовская, жена коммуниста. Сам он неизвестно где, а она здесь одна и за квартиру уже три месяца не платит.

— Торчит, пень старый, чтоб у него глаза колом стали! — говорит на чердаке швейка. Ей как-раз нужна вода, а этот «пень старый» от колодца не отходит.

— Давай я тебе принесу! — сама вызывается Мальвина Грынды.

Мальвина Грынды — одна из выдающихся особ в коллективе пана Тарбецкого. Злые языки распространили о ней слух, что она имеет двойную природу: временами она — баба, временами — мужчина. Костистая, широкая фигура, размашистые движения, резкая походка, громовый голос, огромные сапожищи, — всем этим она сразу обращает на себя внимание и вызывает к себе страх и послушание.

Алена Мостовская, услышав грубый голос, вдруг сразу поворачивается в сторону Грынды, приветливо улыбаясь:

— А, пожалуйста! Я уже потом отношу вам.

— Хорошо, хорошо, — относишь. Где твое ведро?

Грынды порывисто берет ведро, с грохотом опускается по ступенькам крыльца, выходит на двор, идет к колодцу, приветствует пана Тарбецкого скупым «день добрый», ставит на положенное место ведро и тарахтит насосом. Накачивает так энергично, что пан Тарбецкий подается назад.

Отнеси одно ведро, Грынды идет с другим, с третьим.

Пан Тарбецкий качает головой, догадываясь, что Грынды тащит воду кому-то другому. Некоторое время стоит, смотрит, потом кашляет и, наконец, решается:

— Куда это столько воды тащишь?

Грында ставит на землю ведро, становится против пана Тарбецкого. Пан Тарбецкий снова подается назад, оглядывается, слышат ли люди.

— На весь город ношу! — злобно отвечает Грында. Злость ее растет, морщинистое лицо как-то сразу меняется, глаза сверкают.

— Домов я не имею, некому на меня работать, буржуи проклятые! Обмываю вас! Не ты-ж, дармоед, будешь на меня белье мыть. Куда воду тащишь! Ах, чтоб из тебя кишки вытащили! Ты что-ж? С брюха своего воды в землю напустил? Ты колодец делал, чтобы тебе в груди заложило? Кто на тебя работает? На чьи деньги колодец поставил? Воды ему жалко...

Смущенный и оскорбленный пан Тарбецкий задом отступает, пугливо оглядывается, смотрит на квартиры своего коллектива и, когда очутился за межей непосредственной опасности, говорит сам себе:

— Тьфу, паскудство! Вот зараза! Ах, чтоб у тебя язык отсох! И откуда они такие берутся? Вот холера!..

Бесславное отступление пана Тарбецкого от колодца поддает Грынде еще больше пылу и приводит ее в состояние вдохновенного гнева. А в тот момент, когда пан Тарбецкий готов уже шмыгнуть в дом своей квартиры, она высоко подымает свой здоровенный кулак и грозно трясет им в воздухе:

— Я выведу эту моду стоять около колодца, буржуй ты, кровопивец, храповина свиная!..

Коллектив пана Тарбецкого заворочался. Со всех углов выползают члены этого коллектива, — всех интересуют причины столкновения и каждый хочет послушать столь художественную ругань. Другие, более деликатные, подходят к окнам своих квартир или чуть-чуть приоткрывают двери. Веселый смех блуждает по их лицам.

На крыльцо выходит электромонтер, сморкается сперва одной ноздрей, потом другой, проводит рукой по усам и слушает. Женка санитары появляется на другом крыльце. Свинобой со своей женой, наложивши свинины в ручную тележку, готовые отправиться в путь на рынок, задерживаются, и хотя они не сочувствуют такой ругани, но ознакомиться с ее содержанием весьма интересно. Все стоят молча и только тогда, когда Грында с ведром исчезает за углом дома, переглядываются с усмешками и обмениваются короткими замечаниями.

— Вот так баба! — голосом одобрения откликается санитариха.

— А все-таки неприятно попасть на такой язык! — отмечает электромонтер.

Из-за угла показывается Марыся Шпала, осматривает всех и закатывается веселым смехом:

— Хэ-хэ-хэ-хэ! Вот так дала резолюцию!..

II

Население двора пана Тарбецкого состоит из двух частей: из «трудового элементу» и «элементу нетрудового», или иначе — людей труда и дармоедов. К дармоедам относился сам пан Тарбецкий, прачка Грында, прачка Варакса и ее наполовину замужняя дочка Аннета, Марыся Шпала, свинобой Водопьян и поп Лагода, а остальные: сапожник Самобыль, швейка Самобылиха, портной Сякач, доцент, ассистент, электромонтер, просто техник, хлебопек и еще разные люди со двора пана Тарбецкого относились к людям труда.

Правда, людскую жизнь и человеческую сущность весьма трудно уложить в точные рамки, отчего и получается временами неизбежная путаница и бессмысленность. Вот хотя бы и свинобой Водопьян, какой

числится в списке трудящихся. На самом же деле он трудится несравненно больше других членов двора пана Тарбецкого. Последним ложится спать и первым встает. В то время, когда сам он суетится около поло-сованного сала, его женка начиняет свиные кишки различной свиной дрянью на потребу человека и в первую же очередь на потребу коллектива, в состав которого входит и свинобоева семья. В ярмарочные дни, наложивши ручную тележку свиной, свиной и его женка тащат ее на рынок чуть только займется рассвет. Затащивши свинину, он возвращается назад, оставив у товара женку, а по дороге прихватит пару битых или живых кабанов, складывает их, если они уже сторгованы и куплены битыми. Если же кабаны живые, то их нужно еще взвесить, нужно торговаться и раз двадцать хлопнуть ладонью своей о ладонь продавца. В это время двор пана Тарбецкого дрожит от свиного писка, особенно тогда, когда кабана снимают с воза и кладут на весы. Доцент, под окном которого свершается это свиное дело, злобно срывается с постели и нервно бегает по своим комнатам, проклиная Водопьяна и его профессию. А иногда не выдержит, подбежит к окну и через форточку крикнет свиной:

— Разве у тебя другого места нет, что ты под моими окнами свиной душишь? Ты мне спать не даешь. Работу выполнять мешаешь.

Водопьян временами и не услышит этих слов, а услышит, то сильно обидится:

— Паны все, трасца вашей голове, и болезни у вас панские. Не бойсь, поработай, как следует, то будешь спать, хоть шило воткни...

Доценту ничего больше не остается, как только сказать: «кулак» и на этом успокоиться. У Водопьяна есть определенная жизненная задача: ему нужно

раньше всех вырваться со двора пана Тарбецкого, ибо двор этот поганый, сварливый и негде здесь развернуться. А пану Тарбецкому плати каждый месяц двадцать пять рублей за квартиру, да от грызни еще не отделаться. И Водопьян трудится, как черный вол, чтобы скорее приблизить тот час, когда он поставит свой дом на этом вот земельном участке, что сходится с участком пана Тарбецкого. Водопьян торгует, собирает копейку. Но от зоркого глаза коллектива пана Тарбецкого ничего нельзя спрятать. И кто-то пустил даже слух, что сальник покупает золотые десятки и складывает их, — где, трудно догадаться, — под сукой Знайдой, что привязана около хлева, где стоит свинобоева корова.

Ну, разве-ж это жизнь? А здесь еще — сосед-ассистент! Жить с ним на одном дворе — нужно иметь терпение. Беда с этим человеком, да и только!

Как та ель, — «зимой и летом все с одним цветом», — так и этот ассистент: зимой и летом все в одной и той же шапке. Сейчас подобной шапки уже не найдешь. Быть может у какого-либо старого лесничего сохранилась такая. Широкий верх, как хорошая лепешка, бархатный околышек, настоящий цвет которого узнать весьма трудно, ибо шапка появилась на свет еще тогда, когда созывалась первая государственная дума. Но самое важное, что было в этой шапке, так это — засаленная плешь на том месте верха, где она встречается с круглым выступом головы ассистента. Плешь была завидная, блестящая, и по ее краям шли весьма замысловатые линии — стрелы, как лучи от солнца. Эта плешь не просто плешь, а медаль, подаренная головою шапке за ее верную службу.

Как человек образованный, ассистент не может равнодушно смотреть на ту некультурность и неряш-

ливость, что бьет в глаза на каждом шагу. Он пробовал обратить внимание этих отсталых людей на их некультурность. Да только, кроме неприятности, ничего не выходило. Главный же враг его в этом смысле — гражданин Водопьянов. С того времени как появился здесь свинобой, сразу как-то стало хуже жить. Куда ни повернешься, везде наталкиваешься на эти Водопьяновы корни. То дети болтаются под ногами, то этот резкий, трескучий голос свинобоевой жены режет уши, то сами они снуют около его квартиры, идя в хлев к корове. Около хлева начала расти кучка навозу и всякой грязи, и на эту грязь приходится взглянуть раз шестьдесят в день. Несколько раз обращал ассистент внимание свинобоя на то, что навоз не является украшением двора пана Тарбецкого, что навоз есть рассадник всякой болезни и несчастья.

— Если бог не допустит, то ничего плохого и не случится, — ответила на это Водопьянова женка. В такой момент ассистент рассматривал ее, как заразную бактерию. И злоба брала его. Эта некультурность и темнота взбудораживали его душу до самого дна.

«Некультурность — наибольшее зло на свете».

Вот тот тезис, который заполнял теперь все его существо. С этим тезисом он подходил, как с меркой к человеческой жизни и им расценивал и объяснял все ее ошибки.

И хуже всего вот эта слепота, глухота, нечувственность людская к вопросам науки и культуры. Когда ассистент начал было объяснять, что в куче навоза гнездятся вредные бактерии, от которых можно заболеть и умереть, то над ним просто посмеялись. А сапожник Самобыль засмеялся своим глубоким добрым смехом и сказал:

— Я эти бактерии съем и мне ничего не будет. А как загоню еще хорошего «ершика», то все они в животе передохнут.

Если кто не знает, что такое «ершик», то пусть нальет полстакана пива и полстакана самогону и выпьет. Это и будет «ершик».

Ассистент почувствовал свое одиночество.

— Нет, бросить это так нельзя! — говорил сам себе ассистент. — Я научу вас культурности!

Каким способом можно научить культурности, ассистент сначала и сам не знал. Но только всякий раз об этом он думал. А пока-что, идя от пана Тарбецкого со жбаном молока и с папиросой в зубах, или неся ведро воды, он говорил тому-сему из соседей, что колбасы, сфабрикованные Водопьяном чорт знает из чего, ни в каком разе не следует есть, если ты хочешь жить на свете. Подобные разговоры доходили до ушей Водопьяна. Все это только способствовало той враждебности, которая легла между ассистентом и свинобоем. Наконец, ассистент решил применить к свинобою твердые меры, ибо мало того, что тут лежала куча навозу, — Водопьян еще наложил около квартиры ассистента груды досок. Между тем на дворе пана Тарбецкого появилась скарлатина и как-раз заболели дети Водопьяна.

— Вот вам результаты нечистоты и некультурности! — говорил ассистент.

У него самого были дети. Нужно было спасать их от заражения. Запер ассистент свою семью в квартире. Целую зиму ни жена, ни дети на двор не показывались. Но этого мало. Чтобы отрезать болезням все пути в квартиру, ассистент принес формалиновые лепешки и стал окуривать ими все ходы-выходы и пороги. Наделал такой вони, что прачка Грында, —

а она жила в соседстве с ассистентом, — подняла целый скандал.

— Чорт его знает, что он творит! Задушить хочет какой-то отравой, газы пускать начал, чтоб из квартир всех выкурить и самому занять целый дом! Вот еще скулу бог послал!

Грында ожидала только случая, чтобы прохватить ассистента, как следует, и вывести его на чистую воду.

В результате твердых мер, принятых ассистентом, сюда завернул милиционер. Двор пана Тарбецкого, и без того шумный и гулкий, оживился еще больше. Собрался чуть ли не целый митинг. В тот момент, когда ассистент излагал положение и сущность дела милиционеру, подошел и сам пан Тарбецкий, и вся процессия под управлением ассистента подошла к куче навоза. Около этой кучи ассистент прочитал целую лекцию по химии с дополнениями из некоторых отделов гигиены. Оппонентом выступала Водопьяниха. Она доказывала, что навоз — факт обычный, что на холоде он даже запаху не имеет, а придет весна, его с охотой люди купят. А сейчас куда же его деть? Не положить же его на голову ассистента. Все слушатели, особенно прачка Грында, сразу и определенно перешли на сторону оппонентки.

— Большие паны явились, на навоз глядеть не могут! Куда же навоз теперь убрать? Он же мерзлый! — прачка Грында взяла сразу высокий тон. — Ученые!.. Когда он тебе не мил, так не смотри на него, а если он тебе смердит, заткни свой ученый нос!.. А сам ты не делаешь смраду? Какой ты отравой коридор окуриваешь?.. Людей отравляешь, пройти нельзя, а ему навоз здесь смердит!.. Знаем тебя!.. Будет уже! Довольно нас буржуи мучили! Не для того их сбросили, чтобы посадить себе на шею новых!

Атака на ассистента была такая энергичная и напористая, что милиционер только сказал:

— Навоз следует убрать!

— Не будет его, известно, приберется, товарищ милиционер!

Что касается досок, то сейчас это был такой ничтожный козырь, что о них не стоило и рта открывать. Милиционер ушел со двора, а ассистент должен был признать свое поражение, но он все-таки остался при своем мнении, что большое зло на свете — некультурность. И ассистент опять заперся в своей квартире и окуривал ее формалиновыми лепешками, чтобы обезопаситься от заражения.

III

Если не больше, то во всяком случае и не меньше Водопьяна работала и сама пани Тарбецкая. Это добрая, тихая женщина, кажется, для того только и создана, чтобы трудиться. Она главным образом наблюдает за порядком на дворе, подметает его, скребет, чистит, ухаживает за коровой, выполняет грязную работу по очистке самых неприятных углов своего двора. Ее же руками свершается работа в саду и в огороде. И выполняет свою работу тихо, без шума и крику. Она же первая отзывается на всякий несчастный случай на дворе. А на дворе бывали всякие случаи.

Салюта, жена электромонтера, проснулась рано и никак уже не могла заснуть. Обыкновенно она в такие минуты думала про амбулатории. А сегодня как-раз и Ганна ее что-то кашлянула нехорошо. Нужно свести ее показать доктору, но не лучше ли его записать на дом? Во всяком случае вопрос этот она разрешила, но тем не менее у нее на сердце было беспокойно. Что-то ее волновало, но что — никак не могла понять. Переби-

рала в памяти и то и это, — нет, чего-то нехватает. И вдруг ее осенила мысль: лежак на чердаке провалился. Правда, не их лежак, а лежак их соседа-квартиранта, санитаря. Несмотря на то, что провал лежака угрожал пожаром, санитар и ухом не вел: есть хозяин пан Тарбецкий — пусть его и исправляет. А если загорится дом, то чорт его бери!

Салюта теперь думает, как быть с этим лежаком. Думала она с час, пока не проснулся электромонтер.

— А всячески неприятно! — сказал после некоторого размышления электромонтер.

— Очень даже неприятно! — подтвердила и жена.

Вставши, электромонтер пошел к санитару, благо жил он близко — через двери. Проведя рукой по усам, электромонтер сказал:

— Ну, что делать с лежаком? Нужно что-либо предпринять: дым, искры и огонь на чердак валят. Пожар может быть. И куда ты потом денешься?.. Нехорошо, брат...

— А чорт его бери! пусть горит! — понуро ответил санитар и в глаза не посмотрел. Он готовил мелкие полешки, собираясь разложить огонь в печке.

— Хозяин есть — пусть исправляет, — вставила слово санитарша.

— Хозяин говорит, что вы сами виноваты: неаккуратно печи топите, раскладываете огонь близко к трубе. Да и хозяину что? Сгорит дом, страховку возьмет. А доходу с дома ему нет...

— Если хозяин не заботится, то какое дело мне? Пусть горит, — ответил санитар и положил в печку близенько полешки.

— Давай вдвоем сами заложим: много той работы!

— Чорт его будет закладывать! — заладил свое санитар. Так ни до чего они и не договорились.

Электромонтер на службу ушел, а Салюта на чердак влезла и простояла все время у лежака, пока санитарша печь топила. Из-за этого проклятого лежака и амбулаторию пришлось пропустить, что с Салютой бывало очень редко.

— Вот же люди, чтоб на них гибель! — злилась на чердаке Салюта. — Стереги их, чтобы пожара не наделали!

Санитарша окончила топить. Салюта слезла с чердака, пошла к соседке, доцентовой жене, и рассказала о случае с лежаком. Санитар, электромонтер и доцент жили под одной крышей. Пожар в одинаковой степени угрожал и электромонтеру, и доценту. Узнав такую новость, доцент испугался и закипел гневом на санитаря: пожар да еще зимою никому на свете, кроме разве санитаря, не мил. Да еще у доцента есть научные работы, а в пожар они легко могут погибнуть. Гнев доцента пошел по двум линиям: по линии санитаря и по линии пана Тарбецкого. Но с санитаря ничего не возьмешь.

Пошел доцент к пану Тарбецкому.

Пан Тарбецкий еще был в кровати.

— Пана Тарбецкий! Нужно меры принимать какие-либо: у санитаря лежак провалился. Это же не шутки!.. Если вы не примете мер, то не гневайтесь — в милицию заявлю.

Пан Тарбецкий закрихтел и почесал затылок.

— А пусть его холера возьмет! Топит сырыми дровами, огонь раскладывает у самой трубы. Ну, неудивительно, что лежак развалится. Да еще картофель в кафельной печке свинье варит... Что с квартирой сделал! Хлев, свиарник!

И пошел и пошел бороновать пан Тарбецкий. Доцент слушал, слушал и гнев его остывать начал. Но

в конце он все-таки напомнил пану Тарбецкому о милиции еще раз.

— Так нужно найти какой-либо выход, — сказал пан Тарбецкий.

А этим временем по всему двору стало известно о случае с лежаком. Если загорится один дом, то могут сгореть и другие. По этой причине лежаком был заинтересован весь коллектив пана Тарбецкого. При этом выяснилось, что санитар больше всех виноват, и общее негодование было направлено против него.

Весь день прошел под знаком санитаровского лежака. Вечером доцент настроил радио, оседлал голову пружиной и наладился слушать концерт, чтобы немного отдохнуть и забыть все эти ссоры, связанные с лежаком и санитаром.

— Алло! Алло! Товарищи радиослушатели! Сейчас доктор Розенталь прочитает лекцию о санитарном просвещении.

— Тьфу! — плюнул доцент и снял пружину. — От санитаря сбежать хотел, а здесь — санитарное просвещение.

И на другой день лежак оставался в том же положении. Но санитар начал ворочать мозгами, ибо со всех сторон на него напирала. Выходило, что он виноват, и даже Грында его не поддержала. А все-таки не хочется ему за лежак братья. У него есть такое убеждение, что лежак должен исправить кто-либо другой. Если не пан Тарбецкий, то электромонтер. Услышав, что дело может пойти в милицию, санитар решил сам обратиться к ней. Во-первых, этим он снимет с себя ответственность и, во-вторых, наверное, узнает юридическую основу этого самого лежака и соответственно с этим он поведет надлежащую линию обороны.

Но пока-что горячки не поднимал: зайти в милицию он еще успеет. А тем временем электромонтер, договоренный женкой, — а ей пришлось пропустить одну амбулаторию, — задумал против санитара недоброе дело: он полезет на чердак и заложит в лежаке дырку. Тогда увидим, как это санитар разложит огонь в печке. Электромонтер уже полез было на чердак, заготовив необходимый материал. Да вспомнил, что дым из квартиры санитара может перейти в его квартиру. Так сколько неприятности будет и злобы! Пусть его лучше холера задушит! И электромонтер слез с чердака. Санитарихе все же сказал:

— Ну, как себе хотите: заложу в трубе дырку, задыхайтесь в дыму.

И эта ответственность перед соседями заставила таки санитара обратиться к милиции. Свернул папиросу, закурил и пошел. Задержавшись на пороге канцелярии, санитар бросил взглядом на один, на другой и на третий стол, решая к кому здесь лучше обратиться. Остановился на пожилом писце. Подходит, спрашивает, рассказывает про лежак.

Писец был еще старой школы и старая закваска пробивалась из-под седых бровей и сказывалась в его манере смотреть.

— Так что-ж твой лежак самогону напился? — спросил тот санитара. А этот вопрос следовало понимать в том духе, что преступление лежака не такого рода, чтобы дело о нем разбирать в милиции, что и выяснилось из дальнейших слов. Если лежак не в порядке, то нужно немедленно обратиться в пожарную команду.

Тронувшись уже с места, санитар наш расшевелился и пошел к пожарникам. У него возникло желание довести дело до конца.

Через полчаса санитар был у пожарников. И там рассказал историю с лежаком. И, наконец, поставил вопрос ребром:

Кто же должен исправить лежак?

— Это не наше дело разбирать, кто должен исправлять трубы. Наше дело — тушить пожары, а если ты будешь гореть, то мы приедем тушить.

Санитар остался неудовлетворенным таким ответом. Он даже начал про себя высказывать недовольство на беспорядки в советских учреждениях и чуть-чуть не дошел до контр-революции. При этом ему никак не приходило в голову, что вся эта лежаковая история не стоит ржавого гроша, и что достаточно потратить ему полчаса времени, чтоб ликвидировать беспорядки и не мешать советским учреждениям делать свое дело. Правда, санитар — человек бедный, а бедность часто делает человека злым, глупым, недогадливым.

В то время, когда санитар входил на двор пана Тарбецкого, пани Тарбецкая как-раз слезала с чердака, причем руки ее были в глине. Пока санитар добивался правды, она замазала лежак и этим самым ликвидировала вопрос о нем. А санитар и до настоящей поры, наверное, не знает, кто же должен исправлять квартирантам лежаки.

IV

Сапожник Самобыль — усердный сын земли. Родился и вырос он в деревне. Профессии своей не любит; горькая бедность, безземелье вынудили его искать иных средств к жизни. Результатом этих поисков и явилось сапожное ремесло. Но и здесь в нем сказывался дух земли: Самобыль на городских не шьет, он специально обслуживает деревню, откуда и получает заказы. Среди деревенского люда авторитет Самобыля.

как сапожника и славного человека, стоит чрезвычайно высоко. Его берут чуть ли не с боя, чтобы заполучить в свою деревню или на свой хутор. Из деревни ему трудно вырваться, — так заваливают работой. Кормят его там шкварками, яичницей, угощают лучшей заготовкой самогона. Из далеких деревень приезжают к нему люди и не с пустыми руками, а с бутылкой самогона, чтобы иметь удовольствие выпить ее в компании с Самобылем. Эту деревенскую продукцию Самобыль ставит выше сорокаградусной. Быть может, и тут его вкус подчиняется тому же деревенскому патриотизму, а может быть эта любовь к самогону вытекает из особенностей его природы.

— Оно ловчее выпить самогон: он тебе и в горле дерет, и в животе печет, и таким душком отрыгается.

И не даром Самобыль принимал самое горячее участие в строгом экзамене, который был учинен самогону и сорокаградусной. Его приятель Балтрух Шкель привез самогону. Было это тогда, когда сорокаградусная в продажу вышла. Встревоженный Шкель вынул бутылку своей продукции.

— Подсекут, брат, заработки мне, — сказал он.

И любопытство взяло человека: в какой мере сорокаградусная будет конкуренткой самогона? Достали очищенной. Налили черепок, стали поджигать — вспыхивает, но не горит. Повеселел Шкель. Поднес спичку к самогону, синим огнем охватило.

Самобыль и Шкель в глаза друг другу посмотрели и дружно захохотали.

— Наше берет!

— Дешевле только продавать придется, — сказал Шкель.

С радости выпили и городской и деревенской. Выпил, повеселел Самобыль, шутками сыплет.

— Смычка города с деревней! Ха-ха-ха-ха!..

Не любит Самобыль жить в городе. И здесь он старается завести деревенский быт. У него есть маленький кусочек земли напротив квартиры, где живет. Как только растает снег, он сейчас же выходит в свой огородик, где стоят слива, груша и две яблони, и тут начинает работу. Подберет аккуратненько каждый кирпичный осколочек, каждую соринку, застелит навозом землю, копает ее заступом, разбивает на грядки. Посадит луку, бураков, моркови. Не так это все нужно ему для жизни, как для удовольствия работать на земле, хоть он и оправдывался тем, что у него скотина есть. И правда, у Самобыля имеется всякой твари по паре: есть куры, трое поросят, две козы и кролики. Дивятся люди, как вмещает Самобыль свой скот в таком маленьком хлевчике. Хлев его еще называют «Ноевым ковчегом». И верно, сколько в нем клетушек, закуток, перегородочек! Соображает Самобыль, как здесь удобнее скотину разместить. Надумал второй этаж соорудить. Два дня мастерил. Соорудил. На новый этаж соломы постлал и начал туда своих кабанчиков переселять. Не всегда-ж свинье в грязи копать: пусть и свинья немного испытает панского житья! Но панские хоромы не по душе пришлись кабанчикам. Пицать там начали, не лежали, голодовку объявили и свиных лакомств не захотели есть.

— Нет, брат, — сказал тогда Самобыль, — свинья — такое животное, что не должна от земли отрываться, ей нужна земля, как рыбе вода.

И снимал своих кабанчиков со второго этажа.

— На другом этаже лучше козам жить, потому что козы любят лазить по высотам, это их специальность.

— Может так и хорошо было-б козам, но от свиней шел тяжелый дух, а козы — животные деликат-

ные. Пришлось и коз взять и ликвидировать второй этаж. Но человек должен учиться, чтобы во всем иметь практику.

— Негде, брат, мне развернуться. А я это хозяйство так люблю, что просто здоровею около него.

Ухаживая за своим «хозяйством», Самобыль частенько является свидетелем любопытных событий, имеющих место на дворе пана Тарбецкого. Двор же пана Тарбецкого хранит в себе и ту особенность, что на нем чрезвычайно много детей. Пан Тарбецкий в свое время обратил на это внимание, даже гордится этим, потому что его коллектив множится. Бездетным людям иногда советовали переселиться на его двор, ибо у пана Тарбецкого нет ни одной женщины, которая здесь не рожала бы детей. На этот раз пан Тарбецкий недоволен тем, что среди девяти новых членов его коллектива попался всего только один хлопец, а то все девки.

— Опозорили мне двор! — говорил пан Тарбецкий. — Какая с девок корысть?

В теплые дни двор кишит детьми. Нет той минуты, чтоб они не подрались. Обиженные с плачем бегут к своим родителям. Какому же отцу или матери не жалко свое дитя, и, заметьте, наилучшее дитя! Отцы или матери, смотря по их натуре или по степени обиженности их детей, вихрем врываются в квартиру родителей обидчика. Результаты от этого бывают разные: иногда виновного родители накажут, а иногда заступятся за него и сами поспорятся. Ссора выносятся на двор и частенько принимает затяжной характер, а временами переходят в новую фазу своего развития, кончаясь дракой. Самобыль только тогда обращает внимание на ссору, когда она ведется энергично, с большой долей пылу.

Тогда он отводит глаза от гряд и говорит:

— Вот эти начали хорошо!

На обыкновенную же ссору отзывался:

— Глупость: лишь бы языками болтать, — делать людям нечего.

В виду того, что ссора — бытовое явление широкого размаха, на нее нужно было бы обратить должное внимание, чего, к сожалению, не делается до сих пор. Литература тоже занимается ею мало, а если и занимается, то не так, как нужно, рассматривая ее поверхностно, отмечая лишь главные факты. Сущность же ссоры, ее, так сказать, динамичность, ее методическая сторона остаются в тени. Скажем, не освещены такие вопросы: В какой последовательности нужно распределить самый материал ссоры? Что нужно говорить сначала, а что после? Куда нужно смотреть, когда лаешься с человеком? Какую ногу следует выставить вперед? Какое выражение нужно придать лицу? Как держать руки? В какой момент следует свернуть фигу? Когда перейти от слов к делу, или, другими словами, когда броситься в атаку?

До этого времени ссоры велись и ведутся кустарным способом, а нужно было бы выработать простую, всем доступную схему для практического пользования в интересах экономии времени и физкультурного воспитания. Тут, кажется, заинтересован и сам НОТ, — должен быть заинтересован!

На этот раз мятеж подняли Степка, брат Аннеты, и сын прачки Вараксы. Степке восемь лет, ходит он в красноармейской шапке. Шапка досталась ему от аннетиного мужа. Этот муж, увеличивши коллектив пана Тарбецкого на одного человека, сразу же исчез. От него остались здесь одна шапка да еще живой «элемент». С виду Степка тихий хлопчик, но воинственного запала в нем

имеется достаточно. Может в этом немного виновата красноармейская шапка, какая по своему свойству обязывает к храбрости. Храбрость малого Степки на этот раз выявилась в том, что он дал в зубы санитарихиной дочке и засыпал песком глаза Водопьянову сыну, — двойное преступление! На Степку напали санитариха и Пронька, сестра Водопьянихи, девка годов под сорок. Варакса и Аннета бросились спасать Степку. Поднялась буча. Ссора сразу же отклонилась от своих объектов и пошла в другом направлении. Пронька сцепилась с Аннетой, а санитариха с Вараксой. А в процессе ссоры пары менялись, как иногда это делается в некоторых танцах.

— Погналась за коммунистом, а он тебе вот что показал! — затрещала Пронька, свернула фигу и сунула ее в сторону Аннеты, да сыпала дальше. — На чорта ты ему далась! Разве он себе не найдет? Свиснет — двадцать прибежит таких, как ты.

— А ты свистала, да ничего не высвистала, — осекла ее Аннета.

А Пронька свое гнула:

— Замуж вышла, дитя имеешь? Твое дитя нужно кликать: тю-тю-тю-тю! Его не крестил ни поп, ни ксендз, ни раввин... Женка коммуниста!... Думаешь, дитя не окрестила, так он к тебе вернется? Трасцу!..

Мучительны эти слова для Аннеты.

— Зови себе мое дитя, как хочешь: от суки сучье и услышишь, а только я свое годую. А ты где свое дела? Куда его бросила? Думаешь, никто не знает, какой болезнью ты болела?

Пронька сразу побелела, а потом огнем загорелась:

— Что ты брешешь, такая-сякая?! Дайте нож, я ее зарезу! — крикнула Пронька и бросилась на Аннету. Аннета — удирать. Потом вдруг остановилась и сама

рванулась к Проньке. Пронька в свою очередь задала драла. Так они гонялись одна за другой раз восемь: то до колодца, то от колодца.

— Бей смердюху эту! — кричала санитариха.

Пронька осмелилась и снова бросилась на Аннету. Тут они схватились и в волосы друг дружке вцепились. Санитариха на помощь подскочила, Варакса тоже ринулась в атаку. Рванувши по разу за косы, женщины, как бы испугавшись, отскочили одна от другой. Малые дети вой подняли. Но драка на этом не окончилась. Тут оружие нужно. Аннете первой подвернулась под-руку палка. Швырнула с размаха ею в Проньку. Палка, ударившись об землю, отскочила и попала в санитариху. Санитариха повалилась на землю около колодца.

— Ой, убили меня, убили! Спасайте, люди, убили! — лежит санитариха и голосит.

Прачка Грында все время стоит у окна своей голубятни и наблюдает драку. Она так полна уважения к самой себе, как генерал-стратег нейтрального государства, стоящий в стороне от войны и следящий за ее развитием и за ошибками генеральных штабов.

Увидев санитариху на земле и услышав, как она голосит, Грында не могла больше молчать.

— Если тебя убили, то чего-ж ты кричишь? — спрашивает она с высоты. — Раз убили, так нужно молчать. Тьфу! — плюет она из окна.

Остановил свою работу и Самобыль. Воткнул лопату в землю и смотрит. Временами он заливается громким смехом, а временами смеется молча. Наконец, отмечает:

— Разошлись бабы, а только падлы и биться не умеют. Ну, как есть — куры!.. Ах, чтоб вы сгорели!.. Смех и беда!..

Потом он берет заступ и копает
Когда через некоторое время все стихло, мальчишки
со двора пана Тарбецкого напевали песню:

Ой, тут случилась драка,
Ака-ака-ака!
Гусь побился со свиньей,
Ей-ей-ей!
Куры ринулись в атаку,
Таку-таку-таку!
Закипел кровавый бой,
Бой-бой-бой!

V

Швейка Самобылиха — редкий человек и наиболее популярный член коллектива пана Тарбецкого. Если сапожник Самобыль олицетворяет крестьянство, то Самобылиха является человеком преимущественно универсальным. Кто не знает швейку Самобылиху и кого не знает Самобылиха?! Ее знают Украина, Донбасс, Сибирь, Москва, Западная Белоруссия, и кто приезжает из этих далеких мест в столицу Белоруссии, то первым делом является к Самобылихе, чтоб при ее помощи войти в курс дела и сообразно с этим сделать соответствующие шаги. Доктора всех медицинских специальностей, адвокаты, профессора, общественные деятели, комиссары и просто партийные люди, поэты, попы и ксендзы, мещане, крестьяне, железнодорожники, торговцы, спекулянты и люди иных профессий и социальных групп составляют обычный круг знакомых швейки Самобылихи. Никто, как она, не даст тебе совета и не поможет тебе в трудную минуту жизни, и нет на свете такой сложной задачи, перед которой растерялась бы швейка Самобылиха. И даже

если бы к ней обратился Пилсудский, свершивший переворот в Польше, с таким вопросом:

— Посоветуй ты мне, Самобылиха, кого мне назначить в министры? — то она, глазом не моргнув, по пальцам пересчитала бы ему кандидатов.

Начать хотя бы с ее профессии.

Кто-б только ни обратился к Самобылихе с просьбой принять заказ и выполнить его в самый короткий срок, она скажет:

— Ну, хорошо, приходите, будет готово!

Таких заказов собирается у нее много и ни одного из них не выполнит к сроку. Приходят одна за другой заказчицы и ни с чем возвращаются назад, и возвращаются без всякой злобы на нее, ибо она укажет на такие причины, перед которыми должна смириться самая непокорная голова.

Приносит однажды молодая будочница шелковую юбку, — на хлеб ее выменяла, — посоветоваться с Самобылихой, что можно сделать с юбкой.

Самобылиха перевернула сюда-туда эту юбку.

— Вот, знаешь, сестрица, что? Оставь ты ее у меня: я тебе наберу за нее на капотик сатину, а мне она пойдет на отделку.

— Хорошо! — соглашается будочница.

— Ну, вот.

Самобылиха сейчас же берет «сантиметр», здесь же снимает мерку.

— Приходи послезавтра, будет капотик.

Будочница подождала с неделю, приходит за капотом. У Самобылихи был синий материал, санитариха принесла на платье себе.

— Вот посмотри, какой материал набрала тебе, — показывает ей санитарихин материал. — Видишь какой крепкий! — рвет его и порвать не может.

Рассматривает будочница, утешается.

— Хороший! — говорит с веселой миной.

— Ну, я-ж тебе говорила, что будешь иметь капотик. А только, знаешь, сестрица, приехала Ганна Лагуновская, надо мной колом стояла, чтоб детям платица пошила, — не имела времени пошить тебе. Ну, да ничего: приходи в ту неделю, будет готов.

Через месяц снова приходит будочница.

— Ну, как же, Самобылиха, капотик?

— Знаешь, сестрица, что? Украла тот сатин моя девка, чтоб ее холера! Украла и сама пропала!

Будочница вздохнула.

— Ну, да я тебе сказала — пошью, так будь спокойна, — пошью... Что ты сделаешь!... Пропало мое!...

Пришла будочница уже месяца через четыре.

— Ой, чтоб им холера, этим торговцам! — встретила Самобылиха будочницу и руками замахала. — Набрала тебе у Левина сатину. Лучше еще чем тот! Принесла домой, развернула, а там две большие дырки: вола протянешь! Понесла его назад и бросила ему в морду.

Будочница только слушала, вздыхала да головой кивала. Прошел год и несколько месяцев, пока дождалась она капота. И Самобылиха сказала ей:

— Вот видишь, сестрица! Хоть и долго ждала, зато имеешь теперь новый капот! А так износила и забыла бы давно о нем.

Кто не согласится, что это неправда?

Справедливость заставляет отметить, что не было еще такого случая, чтобы Самобылиха отказалась от своего слова. Год пройдет, два и больше, а только, что она пообещает, то уже сделает. Этим только и можно объяснить, почему все члены коллектива пана Тарбецкого, так хорошо знавшие Самобылиху, как человека

с богатой фантазией и со склонностью к различным комбинациям, обращались к ней, если кому приходилось круто.

Так было и с доцентом.

Собирался доцент провести свой какой-то праздник. Водки не было и достать «спиртуса» было весьма трудно, а выпить хотелось. Доцент знал рецепт, как сварить крепкую брагу, — такую брагу, что от трех рюмок человек пьяным станет. Не было у доцента только солода и где достать его — по своей учености он не знал. Несмотря на то, что он зарекся к Самобылихе за услугами обращаться, пришел-таки к ней.

— Вот глупость! — и засмеялась оскорбительным смехом Самобылиха. — Чтоб чего хорошего — солоду! Я сама изготовлю столько, что хоть пивоварню открывай. Рожь есть, намочу, пророщу, высушу, занесу в мельницу, смею — и вари сколько хочешь, хоть пуп развяжи.

Дней за десять до того, когда нужно было варить брагу, спросил доцент про солод.

— На печке рожь сушится. Послезавтра и солод будет!

«Послезавтра» оказалось, что солод в печке сушится.

— А он же у тебя на печи сушился? — забеспокоился доцент.

Самобылиха пальцем ткнула в доцента.

— Человек! Нужно, чтобы на солод рожь в печке поджарилась. Не веришь? Иди — посмотри. Только мой Самобыль не любит, если кто печь откроет, — там его табак сохнет на бляхе.

Наконец, приносит Самобылиха солод. А только до этого момента не знал он, из чего был приготовлен самобылихин «солод». А это просто был смелен на

ручной мельничке поджаренный овес, и брага из него не вышла. А когда доцент, разгневанный, стал выкладывать все это Самобылихе, то она сказала:

— Ты забыл свой рецепт, вот и брага не вышла!

Марыся Шпала — женщина хитрая и догадливая, но и она однажды попалась на самобылихину удочку.

— Вот, знаешь, сестричка, — сказала ей Самобылиха, встретив около колодца. — Завтра — праздник, а у меня — ни масла, ни молока, ни яиц. Нечего в тесто положить, — хотела пирожок испечь. Знаешь что: одолжи мне яиц, а я тебе испеку булочку.

Понадеялась на пирожок Марыся. У нее были куры и яички в запасе водились.

— На, возьми! — вынесла она полдюжину яиц.

Испекла Самобылиха булки. Приходит назавтра Марыся.

— А, знаешь, моя сестричка, что? Вот когда не везет, так не везет: посадила в печь булки, да и забыла, а мой Самобыль, — и человек, кажется, не слепой, — наложил туда дров и поджег. Все булки сгорели, одни только бляхи остались.

Одним словом, не было того человека в коллективе пана Тарбецкого, которого не поводила бы за нос Самобылиха. И тем не менее авторитет ее от этого несколько не падал, ибо это просто была уже такая потребность ее натуры. Но было в ней и нечто такое, что заставляло всех относиться к швейке Самобылихе с уважением.

Никто не отзовется с такою чуткостью на чужое горе, как Самобылиха. И если выпадет такая потребность, что необходимо, действительно, помочь кому, то она бросит свою квартиру, работу, детей и Самобыля и будет целый день ходить с тобой по учреждениям, добиваясь правды и защиты. Она, как никто,

даст тебе должный совет, направит в соответствующее место и, несмотря на свою неграмотность, знает не хуже адвоката кодекс законов. У нее же находят приют люди обиженные жизнью, часто чужие и мало известные ей, голытьба, которая не имеет где преклонить голову и не знает к чему приложить руки.

А когда возьмется она за работу, то эта работа горит в ее руках. У нее богатая память, наблюдательность и критический подход к делу. От нее же можно узнать историю двора пана Тарбецкого. А история эта богата и любопытна и выходит она далеко за пределы двора. Я не буду затрагивать ее здесь, надеюсь, что ее напишут историки-спецы, которым тоже приходилось быть членами коллектива пана Тарбецкого.

Никто, как Самобылиха, не знает и закулисных событий в этом коллективе, когда члены его, затеяв меж собой затяжную ссору, нанимают поочередно прачку Грынду и Марысю Шпалу, чтобы они, как спецы своего дела, доняли их противников своими острыми языками.

В заключение приходится пожалеть, что наш женотдел до этого времени не завербовал в свои ряды швейку Самобылиху, ибо в ее особе он теряет значительный талант.

VI

Самый тихий, самый забитый и незаметный член коллектива пана Тарбецкого — это поп Лагода. Живет он здесь в соседстве с прачкой Грындой. Ходит тихонько, опустив в землю глаза, и старается как можно меньше попадаться людям на глаза, точно он совершил какое-то тяжелое преступление. Аккуратно перед каждым праздником в определенный час тихо выходит он со двора, угрюмый, замкнутый, худой.

Что он думает, идя на богослужение? Наверное, о том, сколько перепадет на его долю медяков, чтобы купить самое необходимое, без чего так тяжело жить. А может быть упрекает себя, что ошибся и пошел в попу, и что ошибку свою трудно уже поправить, ибо у него нет жизненной бойкости. Временами его мысли раздвинут узкие границы горькой правды и развернут перед его глазами троячку, а может быть даже целый червонец с серпом и молотом в красивом веночке. Тогда глаза его засияют радостью и надеждой и ноги тверже ступают по этой грешной земле, где ни попу, ни богу теперь нет простора. Других мыслей почти не бывает у Лагоды. Но только скупы стали люди, исчезла их щедрость к церкви и в пустых ее стенах разносится глухо и вяло голос профессионала, потерявшего почву под ногами. И вера без денег, как и лампада без масла, чадит и гаснет.

Затягивает Лагода «миром господу помолимся», холодные своды подхватывают его деревянный голос и каким-то жутким гудом бросают его от стенки к стенке, пока он не замрет вверху. Пусто в церкви. Мало народу. Несколько истрепанных старушек и мужчин пришло сюда, чтобы позаботиться о своей душе, ибо их путь приблизился уже к дверям «того света».

Грустно Лагоде. И мыслей о боге нет. На издевательства, на страдания покинул он своих служителей. А быть может и правду говорят большевики, что бога нет? Ум у Лагоды не широк и не глубок. И вера его не имеет никакой почвы, никакой опоры. Он только знает, что ему тяжело, что от этих старушек пользы мало, и это богослужение ничего не дает ему. Окончивши службу и подсчитав заработок, Лагода еще более угрюмым возвращается во двор пана Тарбецкого, где его ожидает жена... Невесело в их квартире!..

Марыся Шпала, очень веселая особа, приходит к жене доцента. Огорчена женщина. И говорит она:

— Вы не пожалеете дать подаяние?

И слезы показались на марысиных глазах.

— Какое подаяние? — встревожилась доцентова жена.

— Не спрашивайте. Можете дать — дайте!

— Что случилось?

Марыся оглянулась и придушенным голосом сказала:

— Ой, моя милая, милая!.. Поп!.. Без хлеба сидит! Не на что ребенку молока купить. Ой, как же они, бедные, страдают! Ну, как же им на свете жить? Шестидесят копеек в день с церкви имеет.

Марыся заплакала.

Взявши «подаяние», она таинственно и тихо промолвила:

— Только-ж ничего никому — ни-ни-ни!

Марыся обошла все квартиры, собирая «подаяние» для попа Лагоды.

Марыся Шпала нигде не служит, заработков не имеет, но каким-то образом живет сама и детей кормит. На какие средства живет — коллектив пана Тарбецкого не знает. А если кто знает, то молчит. И вообще в коллективе есть такие люди, которых считают совсем не такими, как они есть.

Вот хоть бы и прачка Грында, с виду она простая, суровая женщина, с озорным языком. А если приглядеться к ней ближе, у нее найдешь много самых таких неожиданных черточек. У нее чрезвычайно много мягкости и ласки. Своих поросятков она никогда не тронет пальцем. Выгоняет их пастись и называет «деточки». Если кто крикнет на ее свинью, она укажет

на то, что этим криком можно перепугать бедное животное, успокаивает ее, чешет под брюхом и за ушами.

— Дочка моя, дочка! Не пугайся, милая! Испугали мою золотую, мою милую. Не бойся, не бойся!

Никому в обиду не даст своего животного. А как она ухаживает за ней! В хлеве всегда сухо. Рядом со свиньями Грынды стоит доцентова коза, отгороженная тонкой перегородкой. Удивляется доцентова прислуга Ольга, почему это у козы мокро, а у свиней сухо. И соломы-ж она постилает. Куда девается эта солома? Неужели ее коза съедает? Потом заметила она, что у козы быстро навоз прибывает, а у грындиных свиней все в одной мере. И еще заметила, что ее коза начала сама производить свиной навоз.

И началась новая борьба в коллективе пана Тарбецкого. Втянутая в борьбу доцентова прислуга много кричать и говорить не любит. Каждое утро свиной навоз из козьего хлева перебрасывается туда, откуда он пришел. Долгое время перебрасывался этот навоз из одной перегородки за другую, перебрасывался молча. Словом, война велась на «истощение», как говорили в немецкую войну. И победителем должен оказаться тот, у кого нервы крепче, как сказал Гинденбург.

Более крепкие нервы оказались у доцентовой прислуги.

Видит Грында, что их войне конца нет. Пришла она в то время, когда Ольга корм козе давала.

— Зачем ты навоз перебрасываешь на мою половину? Если ты еще хоть раз перекинешь свиной навоз сюда, то я его перекину не только в твою половину, а твоим свиньям в корыто! — зло сказала Ольга.

— Смотри, чтоб я тебе за воротник не накидала! — пригрозила Грында.

— Попробуй! — дерзко ответила Ольга и стала в позу.

Эта дерзость и молодой задор, а также и коренастая, крепкая фигура девушки сделали свое. Наверное, здесь имело значение и то, что виновата была она, Грында. И конфликт на этом окончился, а навоз уже выбрасывался на двор в ту кучу, что привела в негодование ассистента.

Удивлялись люди, узнав об этой истории, почему Грында Ольге уступила. Никак это не укладывалось в представлении о Грынде. За несколько дней до конфликта и после него Грында ходила притихшая и как будто чем-то огорченная. У нее была какая-то тревожная, затаенная мысль. И голоса ее на дворе не слышно стало.

Раз как-то утречком заходит Грында к жене доцента. Завела сначала разговор, что Ольга плохо козу присматривает, что козе нужен разнообразный корм. Ну, этот разговор велся так себе, между прочим. Наконец, Грында спросила:

— Вы не слышали... декрет такой был, что выселяют панов из Белоруссии, которые около границы живут. Что это за декрет такой?

— Был такой декрет...

Грында кашлянула и тихо сказала:

— Боюсь, чтоб и меня не выслали...

Доцентова жена широко раскрыла глаза:

— Вас?

— Вы не знаете, я из графского роду!.. Вы не смотрите, мой батька — самый настоящий граф. В Минске целый квартал домов у него был. Да спился, сукин сын, пропил все дома. А я белье мою. И теперь боюсь, чтоб меня не выслали.

— А разве вы зарегистрированы, как графиня?

— Никто не знает, что мой батька граф, да могут узнать.

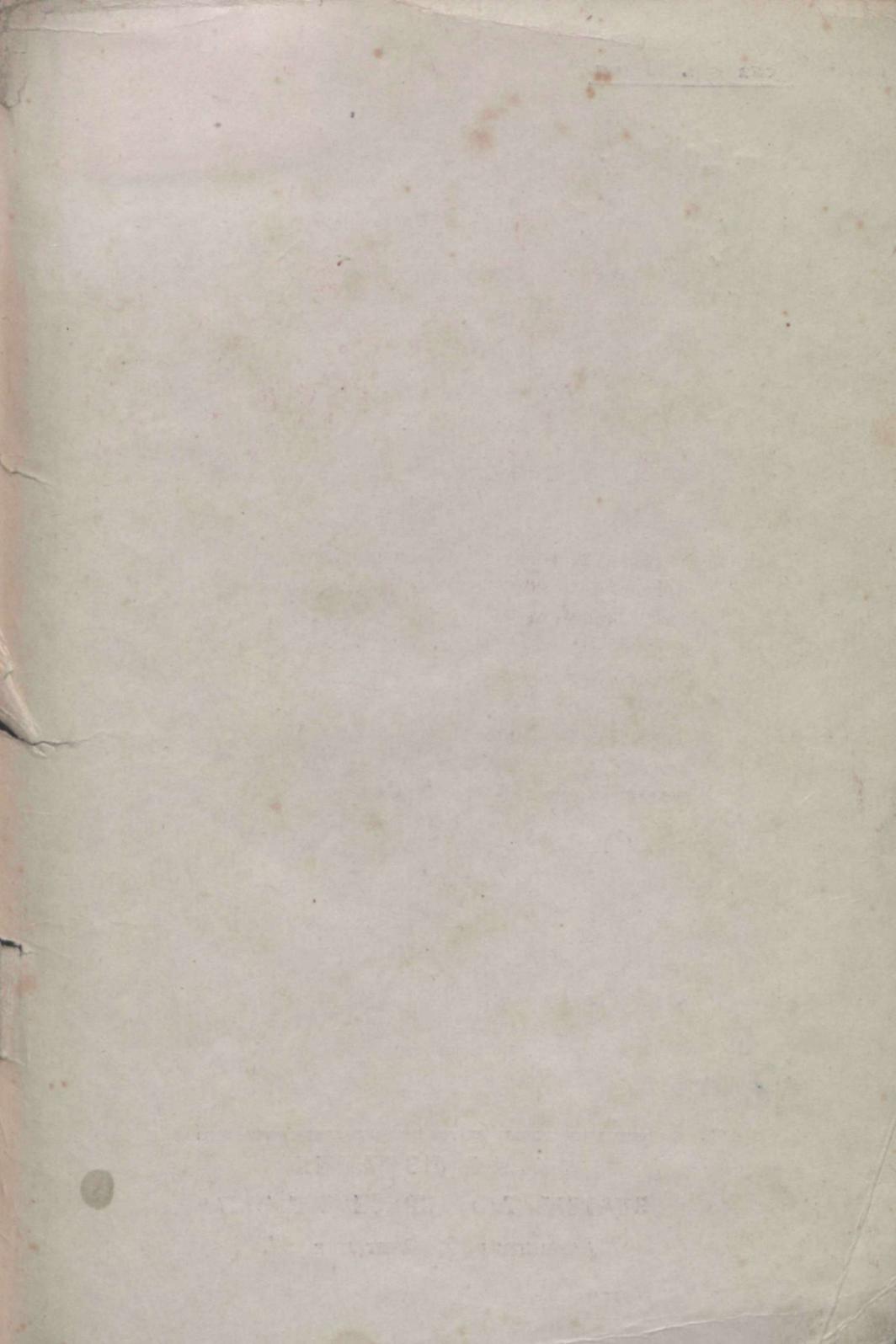
Смотрела доцентова жена на «графиню» Грынду и душилась смехом. А Грында, как бы желая доказать, что она совсем советский человек, рассказывала, как в 1905 году она служила на винном складе и принимала участие в революции и в забастовках, как за нею гонялись казаки, чтоб арестовать, и как она пряталась от них и где — в Свислочи!

Вот какие люди в коллективе пана Тарбецкого!

Здесь показан только их внешний вид, а за этой внешностью, что вызывает наш смех, часто прячется глубокий трагизм людской жизни.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Р. Эйдеман. Рассказ о портном Файтельсоне	3
2. Л. Лайцен. Гибель Средиземноморского флота	33
3. А. Упит. Голая жизнь	51
4. А. Курций. Лидеры	89
5. К. Румор. Кровавые вехи	99
6. К. Трейн. Сланец	133
7. Ф. Туглас. Душевой надел	185
8. С. Ингман. Бесхвостый теленок	211
9. Я. Колас. «Коллектив» пана Тарбецкого	225



Цена 1 р. 20 коп.

-20

Ар 928
Голая

СКЛАД ИЗДАНИЯ:
ИЗДАТЕЛЬСТВО „КРАСНАЯ ГАЗЕТА“
Ленинград, 2, Фонтанка, 57.